

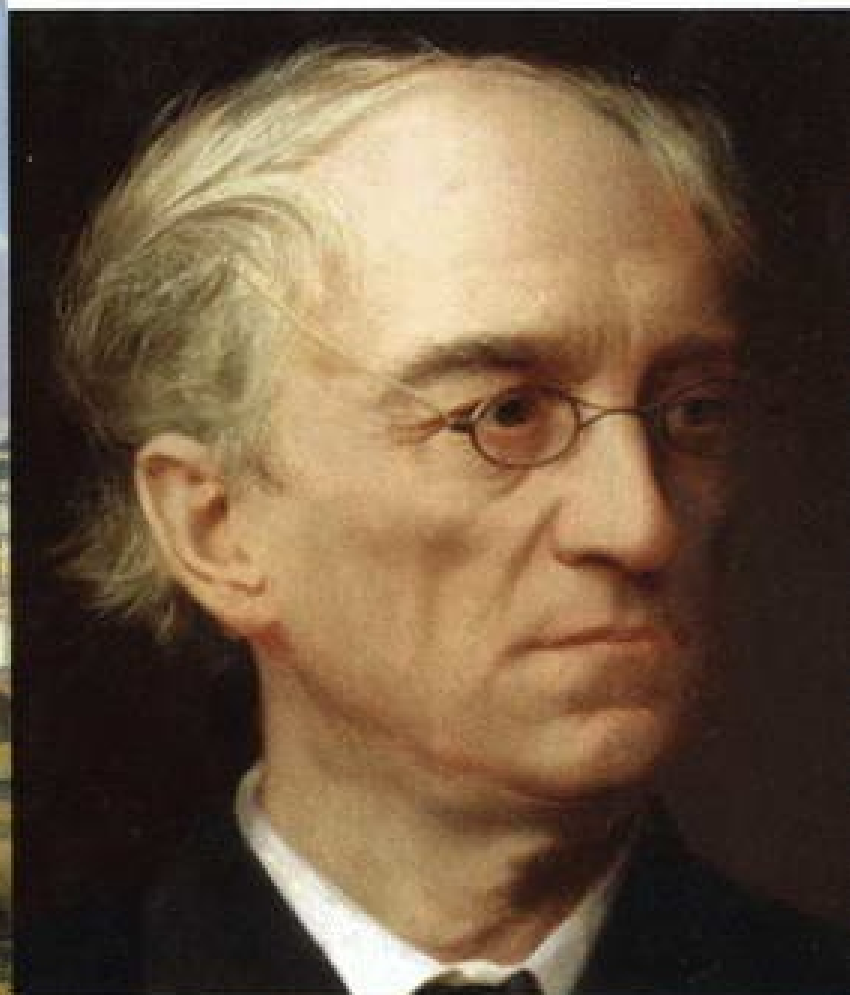
Селен Эжштут

ТЮТЧЕВ



ЖЗЛ

ТЮТЧЕВ

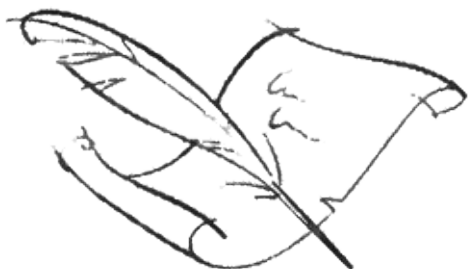


Селен
Эжштут



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation



Семен Экштут, доктор философских наук, историк, неожиданно поставивший в центр жизнеописания Федора Тютчева его служебное поприще, свой оригинальный замысел объясняет так: показать, из какого житейского «сора», по слову Ахматовой, «растут стихи, не ведая стыда». Дипломат, не сумевший получить сколько-нибудь заметный пост, пророк, чья вещая сила не была оценена современниками, политический мыслитель, за долгую жизнь не нашедший времени привести в систему свои воззрения, поэт, издавший при жизни два небольших сборника, и то не по своей воле, сегодня Тютчев украшает собой первый ряд отечественных классиков. Стихи его разошлись на цитаты, а пророчества актуальны и ныне. Не обходит автор вниманием и семейные драмы, и сердечные перипетии поэта, как нельзя выразительнее подтверждающие его знаменитые строки: «Не верь, не верь поэту, дева; *Его своим ты не зови* — И пуще пламенного гнева / Страшись поэтовой любви!» Почему? Об этом и многом другом читатель узнает в книге.

- [Семен Экштут](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)

- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)

- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)

- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)

- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)

- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)

- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)

- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)

- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)

- [332](#)
 - [333](#)
 - [334](#)
 - [335](#)
 - [336](#)
 - [337](#)
 - [338](#)
 - [339](#)
 - [340](#)
 - [341](#)
 - [342](#)
 - [343](#)
 - [344](#)
 - [345](#)
 - [346](#)
 - [347](#)
 - [348](#)
 - [349](#)
 - [350](#)
 - [351](#)
-

Семен Экштут
ТЮТЧЕВ: ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК И
КАМЕРГЕР

ЖИЗНЬ[®]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ
ВЫПУСК
37

Моей жене

...Деятельность этого человека, столь замечательного во многих отношениях, не соответствовала тем необыкновенным способностям, которыми он был одарен. Я не перестану утверждать, что ему всегда недоставало случая, сцены и публики, словом — обстоятельств, его достойных. Про Тютчева можно сказать то, что говорил великий Мирабо об одном из своих предков: «За неимением титула, он обладал внутренней ценностью».

Карл Пфеффель

О Федоре Ивановиче Тютчеве написаны несколько книг и сотни статей, чтение которых убеждает лишь в одном — в принципиальной невозможности разгадать загадку, заданную этим человеком мировой культуре. Даже его родная дочь сомневалась в том, что ее отца можно безоговорочно отнести к числу людей, полагая его скорее духом, нежели человеком. Собственная жизнь была его главным произведением — и он относился к ней так же легко и беззаботно, как к текстам своих стихов и их дальнейшей судьбе.

Блистательный и остроумный собеседник, Тютчев повсюду был желанным гостем: все им восхищались и высоко ценили его непревзойденные остроты — и никто не взял на себя кропотливый труд собрать и систематизировать их при жизни автора. «Тютчевиана» вышла в свет спустя полвека после его смерти, когда непосредственное восприятие тютчевских острот, каламбуров и эпиграмм было безвозвратно утрачено.

Нужны были обширные комментарии, чтобы разъяснить любопытным потомкам, в чем заключалась соль иных острот, и в свое время понятных только узкому кругу посвященных. Судьба не дала ему своего Эккермана, вот почему его блистательные устные импровизации практически не дошли до нас^[1].

Обществом Тютчева дорожили члены Императорской фамилии и великосветские львицы, восторженные барышни и недоверчивые студенты, седые сановники и маленькие дети. Поражавший современников исключительными по своей прозорливости мрачными предсказаниями будущего, он еще при жизни приобрел репутацию Кассандры, но благополучно избежал ее участи. Ему безнаказанно сходили с рук такие

выходки, за которые любой другой человек неминуемо поплатился бы репутацией, карьерой, изгнанием, свободой...

Притягательная сила, исходившая от этого человека, не знала преград. Обаянием его личности были покорены такие разные люди, как император Александр II и его жена императрица Мария Александровна, сестра государя великая княгиня Мария Николаевна и его тетка великая княгиня Елена Павловна, граф Александр Христофорович Бенкендорф и князь Александр Михайлович Горчаков, Александр Иванович Герцен и Иван Сергеевич Аксаков...

Никто и никогда из древнего дворянского рода Тютчевых не поднимался так высоко. Подобно известному чеховскому персонажу, наш герой дослужился до чина тайного советника и имел две звезды — высшие степени орденов Святого Станислава и Святой Анны. Он был пожалован придворным званием камергера, а две его дочери стали фрейлинами — это был знак высочайшего благоволения к их отцу. Вместе с тем карьеру Тютчева нельзя назвать блестящей, а жизнь и судьбу — лишенной противоречий, безоблачной и счастливой. Его необычайная одаренность никем не подвергалась сомнению, но она реализовалась лишь в малой степени: дипломат, так и не сумевший получить сколько-нибудь заметный пост, не говоря уже о месте посла при дворе одной из великих держав; пророк, чья вещая сила предвидеть грядущие бедствия не была востребована современниками; поэт, при жизни издавший всего два небольших стихотворных сборника, да и то сделавший это не по собственной воле; политический мыслитель, проживший долгую жизнь, но так и не нашедший времени привести в систему свои воззрения; любовник и муж, приносивший несчастье всем женщинам, которые его любили.

Федор Иванович еще при жизни имел репутацию человека гениального, обладая при этом уникальным свойством: у него никогда не было врагов, завистников и даже недоброжелателей. Современников восхищал его дар предвидения, что, впрочем, не мешало им сохранять всегдашнее спокойствие перед лицом грозящей катастрофы. Вот почему, когда наступал неизбежный час расплаты, катастрофа лишь укрепляла авторитет Тютчева — и никто не спешил бросить камень в пророка и, хоть таким способом, компенсировать собственное легкомыслие. Однако изрядная доля легкомыслия была присуща и самому пророку. Человек, десятилетиями живший в Западной Европе и всегда находившийся в курсе всех наиболее существенных новостей ее политической и интеллектуальной жизни, ухитрился *не заметить* идущей там полным ходом промышленной революции. Экономическая сфера жизни общества

его не интересовала. Экономика была просто изъята из его картины мира, в значительной степени мифологизированной. Эта картина позволила ему создать ряд гениальных лирических стихотворений и написать несколько талантливых публицистических статей, в которых автор выявил наиболее существенные тенденции в политической и идеологической сферах жизни современной ему Европы. В то время как заграница была закрыта для большинства россиян, исколесивший всю Европу Тютчев-дипломат охотно пользовался комфортом и различными материальными благами, которые несла с собой европейская цивилизация. В это же время Тютчев-поэт просто не обращал никакого внимания на реалии практической жизни, порожденные этой же цивилизацией, и абстрагировался от них. Он покойно катился в удобном купе железнодорожного вагона, восхищался победой человека над пространством, радовался тому, что «города протягивают друг другу руки», но не думал о том, благодаря чему стало возможно *всё это*. Тютчев-пророк воспринимал западную цивилизацию достаточно глубоко, но весьма избирательно: он имел представление о *красном* Западе и пролетаризации населения, но не размышлял ни о промышленном перевороте, ни о развитии тяжелой промышленности, породившей железные дороги. Задолго до того, как Германия стала единым государством, ее территория была покрыта густой сетью железных дорог, однако Тютчев увидел в этом прежде всего несомненное житейское удобство. «Спустя некоторое время вся Германия, благодаря железным дорогам, займет на карте путешественника не больше места, чем занимает сейчас одна из ее провинций»^[1].

И здесь следует подчеркнуть одно очень существенное различие между двумя нашими гениями. Для Пушкина, болезненно переживавшего свою ссылку в деревенской глуши, значимыми приметами недоступной ему европейской цивилизации были вещи разнородные. Их он и перечисляет в письме Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ<ийские> журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство»^[2]. Таким образом, паровозы, пароходы, хорошо изданные журналы — всё это для Пушкина приметы цивилизации, до которой России еще далеко. Впоследствии он как издатель «Современника» привлечет к сотрудничеству в своем журнале князя Петра Борисовича Козловского, дипломата, известного знатока римских классиков, и закажет ему статью

«Краткое начертание теории паровых машин». Напомню, что в это время в Российской империи не было еще ни одной действующей железной дороги, а ветка от Петербурга до Царского Села только строилась. Пушкин считал эту статью столь важной, что даже в канун дуэли просил Вяземского напомнить Козловскому о ней!

Находившийся же в центре европейской цивилизации Тютчев не мыслил свою жизнь без каждодневного чтения европейских газет и журналов, но не задумывался над тем, что нужно для того, чтобы *всё это* появилось в России. Возвращаясь на родину, он написал жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с этим *гнилым* Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины»^[3]. Отсталость России никогда не воспринималась им сквозь призму неразвитости ее экономики, но всегда рассматривалась как неизбежное следствие, порожденное огромным пространством Империи. Он болезненно воспринимал эти бескрайние просторы и разъединенность близких людей в пространстве. Преодолевая дискомфорт и свойственный ему страх одиночества в дороге, он написал почти два десятка стихотворений^[2].

Анна Андреевна Ахматова в стихотворении «Тайны ремесла» написала: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда. *Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда*». В этой книге я мало буду говорить о стихах Тютчева и много — о том житейском «соре», из которого они выросли.

*

Карамзин, ссылаясь на летописное свидетельство, в одном из примечаний к пятому тому «Истории государства Российского» поведал современникам о пращуре рода Тютчевых — московском боярине Захарии Тутчеве (или Тетюшкове), «хитром муже», который прославился тем, что блестяще выполнил важное дипломатическое поручение великого князя Московского Дмитрия Ивановича, впоследствии прозванного Донским.

В 1380 году в Москву «приехали Мамаевы послы с требованием, чтобы Димитрий платил Хану древнюю дань, без всякого уменьшения». Великому князю требовалось выиграть время: решающая схватка с Ордой была не за горами — и тогда к хану Мамаю послали хитроумного Захарию Тутчева. Великий князь дал своему послу «множество золота, серебра и

двух переводчиков». Захария своевременно довел до сведения великого князя о военных приготовлениях хана, что позволило Дмитрию Ивановичу подготовиться к предстоящей битве на Куликовом поле. Хан Мамай встретил Захарию гневно, швырнул в него башмак с правой ноги и сказал своим воинам: «Возьмите дары Московские и купите себе плети: золото бо и серебро Князя Дмитрия всё будет в руку мою; землю же его разделю служащим мне, а самого приставлю стадо пасти верблюжее».

Московский боярин не растерялся и проявил не только выдержку, но и остроумие. «Захария отвечал смело, и воины хотели убить его: Мамай удержал их, и звал сего боярина к себе на службу. Хитрый Захария не отказался, но просил, чтобы ему дозволили прежде отправить Димитриево посольство». Мамай написал грамоту к Дмитрию Ивановичу. Мурзы ханские должны были вручить ее великому князю; «но Захария, встреченный близ Оки отрядом Российским, связал сих четырех Мурз, изорвал грамоту Ханскую, послал одного Татарина сказать о том их Государю, и благополучно возвратился в Москву»^[4]. Больше мы ничего не знаем об этом человеке и очень мало знаем о нескольких поколениях его потомков.

Возникает естественный и вполне объяснимый соблазн усмотреть какие-то черты «хитрого мужа» и одного из первых российских дипломатов в личности Федора Ивановича. Но постараемся избежать этого соблазна и не станем предаваться досужим размышлениям о том, как причудливо «тасовалась колода» в роду Тютчевых, в результате чего наш герой унаследовал от своего далекого предка изобретательность и тонкость ума. Независимое поведение, смелость в речах и поступках, «страсти роковые» — всё это станет отличительной чертой тютчевского рода.

*

Родной дед поэта Николай Андреевич Тютчев был прямым потомком Захарии в пятнадцатом колене и получил известность своим романом с печально знаменитой Дарьей Николаевной Салтыковой, вошедшей в историю под именем Салтычихи^[5]. Каждому школьнику известно, что Салтычиха прославилась бесчеловечным отношением к собственным крестьянам и насмерть замучила несколько десятков крепостных, но мало кто знает, что она рано (в 25 лет!) овдовела и в буквальном смысле слова изнывала без мужа в своем подмосковном селе Троицком, что в Теплом

Стане.

Это имение Дарья Николаевна унаследовала от думного дьяка Автонома Ивановича Иванова, своего деда по отцовской линии. Дьяк Автоном был взят из грязи да посажен в князи: в конце XVII века он руководил Иноземским, Поместным, Рейтарским и Пушкарским приказами. Сохранились адресованные ему письма Петра Великого: одно — о работниках, определенных для переселения в Петербург; другое — о государственных доходах и о продажных товарах, причем в этом письме царь повелевал дьяку представить соответствующую ведомость^[6]. Думный дьяк отличался непревзойденной практической сметкой и прекрасным политическим чутьем, благодаря чему не только смог удержаться на высоких постах и, главное, ухитрился *выжить* среди беспрерывных казней конца века, но и *нажил* баснословное состояние в 19 тысяч крепостных крестьян, которое, по неизвестной нам причине, всё пошло прахом: внучке досталось всего лишь 600 душ^[7].

Грамоты Дарья Николаевна не знала: читать и писать не умела, даже не могла самостоятельно расписаться на официальном документе. Молодая вдова отличалась богатырским сложением, пылким темпераментом и ярко выраженными садистскими наклонностями. Постоянная сексуальная неудовлетворенность и породила у Дарьи Салтыковой ненормальную страсть к жестокостям: она получала удовольствие, причиняя другим физическую боль и наслаждаясь чужими страданиями. Особенно доставалось молодым женщинам, причем наиболее частым поводом для истязаний со смертельным исходом служило «нечистое мытье платья или полов»^[8]. У Ермолая Ильина, одного из своих крепостных, она убила трех его жен, последовательно одну за другой! Убитых хоронили в окрестном лесу в безымянных могилах, едва присыпав землей. Несколько смельчаков отважились подать на Салтычиху жалобу властям — и были биты кнутом и сосланы в Сибирь, а один несчастный был выдан барыне на расправу и по ее приказу заперт. После этого уже никто не смел жаловаться.

Так продолжалось до тех пор, пока судьба не свела ее с капитаном Николаем Тютчевым, который, вероятно, находился с ней в отдаленном свойстве. (Младшая сестра Салтыковой Аграфена вышла замуж за Ивана Никифоровича Тютчева.) Дарья вспылала к нему «любовной страстью». Капитан Тютчев занимался межеванием земель и проводил топографическую съемку местности к югу от Москвы, по Большой Калужской дороге. Именно здесь и находилось подмосковное имение богатой помещицы, потому для холостого капитана его роман с Дарьей

стал походно-полевым и служебным одновременно.

Николай Андреевич Тютчев, судя по всему, был весьма образованным для своего времени человеком. Для того чтобы заниматься межеванием земель, надо было обладать не только специальными знаниями, но и умением преодолевать постоянно возникающие конфликтные ситуации — межевание было призвано установить и юридически оформить границы земельных владений, — а мало кто из помещиков не имел тяжбы с соседями из-за спорных угодий.

Мы не знаем, как долго продолжался роман Тютчева и Салтыковой, но достоверно известно, что перед Великим постом достопамятного для российской истории 1762 года капитан покинул Дарью Николаевну и посватался к ее соседке по имению — девице Пелагее Панютиной. (Напомню, что в это время на российский престол только что взошел император Петр III и до очередного дворцового переворота оставалось всего несколько месяцев.)

Салтычиха решила отомстить коварному изменнику и его невесте. Русская женщина XVIII века на десятилетия опередила свое время, действуя, как настоящая романтическая злодейка, — и я не рискну объяснить причину этого очевидного анахронизма. Задуманная Дарьей Салтыковой месть была весьма нетривиальна для «семнадцатого» столетия. Она замыслила взорвать московский дом Панютиных, который находился за Пречистенскими воротами, у Земляного города.

Как позже выяснилось, 12 и 13 февраля 1762 года конюх Салтыковой Алексей Савельев купил по ее поручению в главной конторе артиллерии и фортификации пять фунтов пороху, перемешал порох с серой и завернул в пеньку. Это самодельное взрывное устройство другому конюху Роману Иванову надлежало «подоткнуть под застреху дома», после чего дом следовало поджечь, «чтоб оный капитан Тютчев и с тою невестою в том доме сгорели».

Слов нет, век Просвещения во многом оставался веком грубым и жестоким, но сознание людей той эпохи еще не было готово воспринять террористический акт в центре Москвы. Крепостной конюх отказался освоить смежную профессию террориста и был жестоко наказан. Снедаемая жаждой мести помещица дала Роману Иванову шанс исправиться и на следующую ночь вновь отправила к дому Панютиных, на сей раз вместе с крепостным конюхом Сергеем Леонтьевым. «Если же вы того не сделаете, то убью до смерти, а ее (то есть Панютину. — С. Э.) на вас не променяю»^[9]. Крепостные слишком хорошо знали, что эта угроза Салтычихи не останется пустым звуком. Однако, когда выпоротый

накануне Иванов намеревался выполнить преступный приказ и уже собирался поджечь пороховой состав, Леонтьев его отговорил. Холопы вернулись к барыне, заявив, «что сделать того никак невозможно», — и были немилосердно биты батогами. Но и после этой неудачи Салтыкова не отказалась от мести, а лишь внесла коррективы в свои злодейские планы. Она узнала, что Панютина и Тютчев, для которых пребывание в Первопрестольной становилось небезопасным, отправляются в Брянский уезд. Их путь лежал по Большой Калужской дороге, мимо хорошо знакомых имений Салтыковой. За Теплым Станом была устроена засада: жениха и невесту поджидали дворовые Салтычихи, вооруженные ружьями и дубинами. Дарья Николаевна алкала отмщения и не думала о неотвратимых последствиях своих действий. Экзотический поджог и взрыв жилого дома были отставлены. Заурядный разбой на большой дороге должен был их заменить.

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет^{[10](#)}.

Капитан Тютчев не ведал этой романтической истины, которая будет сформулирована Пушкиным лишь в октябре 1824 года в поэме «Цыганы», то есть спустя 62 года после описываемых событий. Поэтому, когда добрые люди предупредили капитана о грозящей опасности, он не стал полагаться на судьбу, а решил искать защиты у властей и подал челобитную в Судный приказ, испросив для обеспечения безопасности конвой «на четырех санях, с дубьем»^{[11](#)}.

Всё это происходило ранней весной, когда еще не сошел снег, а уже в начале лета два крепостных человека Салтыковой бежали в Петербург, где ухитрились сразу же после дворцового переворота подать челобитную в собственные руки императрицы Екатерины II. Началось следствие, продолжавшееся шесть лет. Молва упорно, но бездоказательно обвиняла Салтычиху в людоедстве: она якобы извела 139 человек и лакомила в качестве жаркого грудями запоротых по ее приказу молодых девушек. Юстиц-коллегия, рассмотрев дело, признала Дарью Салтыкову виновной в «законопреступных страстях ее» и убийстве 38 человек. Убийство еще 37 человек обоего пола и «блудное ее, Салтыковой, житие с капитаном Николаем Тютчевым» следствием доказаны не были.

В 1768 году дворянка Дарья Салтыкова была лишена дворянского достоинства и приговорена к смертной казни. На полях подлинного указа

Сената с приговором рукою императрицы против слова «она» везде было поставлено «онъ». Екатерина полагала, что «сей урод рода человеческого» не может именоваться женщиной и не имеет права ни на фамилию отца, ни на фамилию мужа. Государыня повелела впредь называть Салтычиху «известной безчеловечной вдовой Дарьей Николаевой дочерью».

18 октября 1768 года, когда в Москве выпал первый снег, осужденную в оковах и смертном саване выставили к позорному столбу на Красной площади, предварительно прикрепив к шее «урода» лист с надписью «Мучительница и душегубица». О предстоящей казни москвичам объявили заранее, и на площади собралась большая толпа жаждущих посмотреть на «позорище», так что, по словам очевидца, «многих передавили и карет переломали довольно».

Смертная казнь была заменена на одиночное пожизненное заключение в подземной тюрьме Московского Ивановского девичьего монастыря, дабы «лишить злую ея душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови смердящее ея тело предать Промыслу Творца всех тварей»^[12]. Салтычиха провела в заключении 33 года, в тюрьме родила от своего караульного и умерла 27 ноября 1801 года. Ее погребли на кладбище Донского монастыря в Москве (мраморный саркофаг над могилой сохранился до нашего времени)^[13].

Однако пора вспомнить о капитане Тютчеве, который еще в апреле 1762 года стал мужем Пелагеи Денисовны Панютиной. Капитан был человек небогатый: ему лично принадлежали всего 160 крепостных душ, к тому же разбросанных в шести селах, расположенных в трех различных уездах Ярославской и Тульской губерний. Его жена Пелагея в качестве приданого получила 20 душ крепостных и родительский дом в селе Овстуге Брянского уезда Орловской губернии.

Молодожены поселились в Овстуге и деятельно занялись хозяйством. Карьера Николаю Андреевичу не удалась: он дослужился всего лишь до чина секунд-майора, но его хозяйственные успехи с лихвой компенсировали служебные неудачи. Тютчев и его жена постоянно покупали землю и крестьян, округляя свои владения, и успешно вели судебные тяжбы с соседями по поводу спорных участков земли. Мы не располагаем никакими сведениями о том, откуда у небогатых Тютчевых появился стартовый капитал для этих солидных покупок, начавшихся с первых же дней их пребывания на Брянщине. Не знаем мы и о том, где они брали деньги для последующих приобретений. (Следует подчеркнуть, что до нас не дошли свидетельства ни о незаурядных агрономических

достижениях деда поэта, ни о его интенсивных торговых оборотах или рискованных спекуляциях. Зато хорошо сохранились купчие на новые земельные владения, причем среди благоприобретенных Тютчевыми имений значится и хорошо нам знакомое подмосковное село Троицкое с деревней Верхний Теплый Стан.) Спустя четверть века Тютчевы стали людьми весьма состоятельными и владели 2717 крепостными душами, причем на имя Николая Андреевича была куплена 1641 душа, а Пелагея Денисовна приобрела 1074 души^[14]. В Овстуге был построен большой господский дом и разбит регулярный парк с прудами.

Механизм достижения этого небывалого успеха скрыт в дыму столетий. Можно лишь предположить, что Николай Андреевич успешно использовал в своей хозяйственной деятельности те знания, которые он приобрел на службе во время межевания земель. Он прекрасно знал, как следует вести тяжбу, чтобы отсудить в свою пользу спорный участок, либо получить в качестве отступного денежную компенсацию. Документы на право владения имениями не всегда составлялись грамотно (а говорить о какой-то правовой культуре в то время не приходится), хранились у их владельцев довольно небрежно и нередко становились жертвой весьма частых пожаров. Почва для клеветы, напраслины, извета, наговора была благодатная — и все эти приказные придирки получили в XVIII веке общее наименование «ябеда». Существовал даже слой людей, которые профессионально ябедничали: промышляли ябедой по судам, сутяжничали, заводили неправые тяжбы, стараясь оттягать что-либо^[15]. Возможно, Николай Андреевич умело пользовался услугами людей подобного сорта в качестве доверенных лиц.

«В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение» — эти слова Пушкин вложил в уста литературного героя романа «Дубровский». Вспомним, как генерал-аншеф Троекуров отсудил у гвардии поручика Дубровского его унаследованное от отца имение: все бумаги Дубровского сгорели во время пожара. Автор «Дубровского» обстоятельно описал «один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право»^[16]. Полагаем, что Николай Андреевич знал множество подобных способов, иначе трудно объяснить, как этот мелкопоместный дворянин ухитрился нажить весьма солидное состояние.

Один из наиболее известных биографов Тютчева, ссылаясь на предание овстугских крестьян, написал, что дед Федора Ивановича «позволял себе дикие выходки. Он рядился в атамана разбойников и с ватагой своих также ряженных дворовых грабил купцов на проходившей

близ Овстуга большой торговой дороге...»^[17]. Другой современный биограф оспорил это утверждение и счел нелепым само предание: «В таком случае недалеко до утверждения, что все состояние, нажитое дедом поэта, пахло награбленными деньгами...»^[18] Даже если признать разбой явным преувеличением, нельзя не согласиться с тем, что нажитое Николаем Андреевичем состояние амброзией явно не пахло. Религиозным благочестием секунд-майор Тютчев не отличался, однако построил в Овстуге не только господский дом, но и каменную Успенскую церковь, куда впоследствии внес богатые вклады и в дальнейшем не жалел средств на ее украшение. Ему, вероятно, было за что вымаливать прощение у Господа^[3].

Впрочем, для Ивана Николаевича Тютчева, отца нашего героя, солидное состояние его родителей было уже данностью, а село Овстуг — богатым родовым имением. Вот почему он смог позволить себе службу в одном из самых дорогих гвардейских полков — в Конной гвардии. Однако расположения ни к столичной жизни, ни к воинской службе с ее неизбежными огромными тратами он не обнаружил, ибо вскоре вышел в отставку в чине поручика гвардии. Это было неординарным поступком и свидетельствовало об известной независимости поселившегося в Москве Ивана Тютчева.

Сделаем необходимое для современного читателя пояснение. Во времена Екатерины Великой служившие в гвардии богатые дворяне старались дослужиться до капитанского чина, чтобы по существовавшей в то время традиции *уже через год* получить при отставке генеральский чин бригадира (V класс Табели о рангах: выше полковника, но ниже генерал-майора). Для дворянской культуры чин бригадира был не только социально-знаковым, но и нарицательным чином одновременно. «Не имев склонности к воинской службе, я нетерпеливо ждал капитанского чина, последнего по гвардии...»^[19] — так впоследствии простодушно признался в мемуарах поэт и министр юстиции Иван Иванович Дмитриев, один из знаменитых современников и сослуживцев Ивана Николаевича Тютчева. Дмитриев мечтал умножить собой число московских бригадиров, наслаждавшихся в Первопрестольной «спокойной независимостью». Ежегодно императрица жаловала чин бригадира двенадцати гвардейским капитанам и ротмистрам, одновременно увольняя их в отставку с действительной службы. Они обыкновенно поселялись в Москве, что и было одной из выразительных примет города, где их двусмысленно называли «дюжинными», по числу ежегодно производимых. Московским бригадирам обязан своим происхождением глагол «бригадирничать» —

важничать, зазнаваться, подымать нос^{20}. О них написал Державин: «И целый свет стал бригадир». К числу таких бригадиров принадлежал и герой одноименной комедии Фонвизина: «...от нее звание бригадира обратилось в смешное нарицание, хотя сам бригадирский чин не смешнее другого. <...>Петербургские злоязычники называют Москву старую бригадиршею»^{21}.

Итак, Иван Николаевич Тютчев, хотя и поселился в Москве, московским бригадиром не был. Однако это не помешало ему в 1798 году взять в жены родовитую московскую барышню Екатерину Львовну Толстую, которая с детских лет воспитывалась в богатом доме своей замужней, но бездетной тетки графини Анны Васильевны Остерман. Первый тютчевский биограф особо отметил, что поэт «чрезвычайно походил на свою мать» и охарактеризовал Екатерину Львовну как «женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с склонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности»^{22}.

После свадьбы супруги Тютчевы уехали из Москвы и поселились в Овстуге, где у них родились два сына: в 1801 году Николай, а через два года, 23 ноября 1803 года, — сын Федор, будущий великий русский поэт. Дети Ивана Николаевича и Екатерины Львовны получили великолепное домашнее образование, что кроме больших денег требовало и немало родительского попечения: даже в Первопрестольной сыскать хороших наставников было делом нелегким. Лишь спрос может родить предложение, а в начале XIX века дворяне нередко считали «образование скорее роскошью, чем необходимостью»^{23}. Иван Николаевич был не таков. Его старший сын Николай, кроме правил русского языка, был обучен языкам немецкому и французскому, а также арифметике, алгебре, геометрии, истории, географии, полевой фортификации и даже рисованию^{24}. Всему этому он научился дома, после чего решил продолжить образование в Школе колонновожатых. Школа была основана в Москве генерал-майором Николаем Николаевичем Муравьевым и предназначалась «для приготовления молодых людей к службе по квартирмейстерской части»^{{25}, [4]} то есть готовила квалифицированных штабных офицеров. Николай Тютчев дослужился впоследствии до чина полковника Генерального штаба.

Младший сын Федор прекрасно освоил практическую российскую словесность, в совершенстве овладел обязательным для просвещенного дворянина французским языком, имел основательные познания в немецком, был превосходно обучен латыни и сохранил это знание на всю жизнь. Его учитель Семен Егорович Раич (Амфитеатров), по авторитетному свидетельству, «имел большое влияние на умственное и нравственное сложение своего питомца и утвердил в нем литературное направление»^{26}.

Этот человек достоин того, чтобы сообщить о нем некоторые подробности. Однажды один издатель предложил Раичу за его стихи деньги. Гордо подняв голову, он ответил: «Я — поэт, и не продаю своих вдохновений!»^{27} И это было сказано не столбовым дворянином и наследником родовых имений, а разночинцем, который постоянно шел по жизни рука об руку с нуждой. Раич писал стихи, но считал позором получать за них авторский гонорар, много переводил латинских и итальянских поэтов, издавал журнал, однако всё это не снискало ему никакого успеха, в том числе материального — и в истории русской литературы он навсегда остался поэтом второстепенным и незначительным. Пушкин в эпиграмме походя назвал его «мелкой букашкой»^{28}. Характеристика хлесткая и во многом точная, но было бы грубым упрощением свести трудную жизнь и нелегкую литературную судьбу этого человека к одной-единственной строчке из пушкинской эпиграммы. «Это был человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывавший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием»^{29}. Можно только удивляться, как он ухитрился пронести это «младенческое незлобие» сквозь всю свою беспросветную, нищую жизнь!

Другим богатств своих не счесть,
А мне — отверженцу судьбины —
Назначено брань с нуждой весть
И... в богадельне ждать кончины...^{30}

Раич родился в семье сельского священника Амфитеатрова, обремененного большой семьей и с трудом сводившего концы с концами. Сыну Семену, в бытность того в семинарии — сначала в Севске, а потом в Орле, отцом выдавались всего лишь два рубля в год «на бумагу, перья,

чернила, лакомства и другие неопределенные траты»^[31]. Заветной мечтой юноши, у которого рано проявилась тяга к стихотворству, было приобретение собрания сочинений Державина. Семен окончил духовную семинарию и, согласно обычаю, избрал себе новую фамилию — Раич (по месту своего рождения в селе Рай-Высокое). Однако принять сан он не захотел, твердо решив порвать с духовным сословием, что было для начала XIX века поступком неординарным. «По окончании полного курса наук в Семинарии решился я оставить духовное звание по многим причинам; важнейшие из них две: 1) я считал себя неспособным исполнять священную обязанность служителя Божия, 2) любознательность, темное предчувствие чего-то, ожидавшего меня впереди, и непреодолимое желание удовлетворить требованиям духа, наперекор всем препятствиям, влекли меня в Москву, в Университет»^[32]. Препятствий и мытарств на пути Раича действительно встретилось с избытком. Отец благословил его «маленьким кипарисным образом», но не мог дать денег ни на дорогу, ни на обучение в университете. Раич побывал и канцеляристом земского суда в Рузе, уездном городке Московской губернии, и домашним учителем во многих помещичьих семьях — и всё это только ради *насущенного хлеба* и возможности в качестве вольнослушателя посещать лекции в Московском университете.

В доме Тютчевых Раич появился вскоре после изгнания французов из Москвы и прожил семь лет. «...Провидению угодно было верить моему руководству Ф. И. Тютчева, вступившего в десятый год жизни. Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года через три он уже был не учеником, а товарищем моим, — так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум! <...> Это время было одной из лучших эпох моей жизни. С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладостных часах, когда, бывало весной и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф<едором> И<вановичем> выходили из дома, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений!»^[33] Эти сладостные для Раича часы, когда он готовил своего воспитанника к поступлению в университет, протекали в памятном нам селе Троицком. Холмик, на котором сидели два поэта, вполне мог оказаться безымянной могилой одной из многочисленных жертв Салтычихи.

Итак, Федору было решено дать университетское образование. Такое

решение не могло не возбудить толки в бригадирской среде. (МГУ настолько давно держит марку лучшего учебного заведения страны, что невольно возникает иллюзия, будто так было всегда. Однако в начале XIX столетия Московский университет еще не имел этой высокой репутации, ему только предстояло ее заслужить.) Это было время, когда дворяне «пугались премудрости и такому множеству наук, не почитая их для одной головы возможными... Самое слово: студент, звучало чем-то не дворянским!...»^[34].

Осенью 1819 года Федор Тютчев, которому не исполнилось и шестнадцати лет, стал своекоштным студентом словесного отделения Московского университета. На студенческую скамью сел юноша, уже имевший репутацию автора стихов, познавший сладкое бремя первой славы и коротко знакомый с теми, от кого в ближайшие годы зависела его судьба. Еще 22 февраля 1818 года на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете его действительный член, декан словесного отделения и ординарный профессор Московского университета Алексей Федорович Мерзляков прочел стихотворение своего воспитанника Федора Тютчева^[5]. 30 марта, на чрезвычайном заседании Общества, юный поэт был почтен званием его сотрудника, и официальная информация об этом событии была опубликована в «Трудах Общества», где вскоре было напечатано тютчевское подражание Горацию. Одновременно с Тютчевым сотрудником Общества стал и Раич. На этом же заседании в почетные члены был избран попечитель Московского учебного округа действительный статский советник и кавалер князь Андрей Петрович Оболенский. Это казалось бы случайное совпадение еще скажется на карьере студента Тютчева, когда спустя два года князь окажет своему юному коллеге весьма существенную услугу, речь о которой впереди.

Университет тогда разделялся на четыре факультета, или отделения: словесный, нравственно-политический, физико-математический и медицинский. Деление на факультеты носило условный характер и студентам не возбранялось слушать лекции на разных факультетах. Тютчев воспользовался этой возможностью и на нравственно-политическом отделении дополнительно прослушал лекционные курсы по естественному и частному гражданскому праву, а также — в соответствии с духом времени — лекции по политической экономии. Пушкинский Евгений Онегин «читал Адама Смита и был глубокий эконо́м». Поэт сознательно отобразил эту выразительную черту общественных настроений молодежи в 1818—1820 годах. «В то время строгость правил и политическая экономия

были в моде»^{35}. При посещении лекций своекоштным студентам была предоставлена определенная свобода: они обучались на своем, а не на казенном содержании и «могли выбирать предметы разных наук, по своему усмотрению». Существовал перечень обязательных предметов, необходимых для получения университетского аттестата, — все остальные курсы своекоштные студенты «выбирали уже по собственной склонности к той или другой науке»^{36}.

Студентам полагалось иметь парадный студенческий мундир: на лекции ходили во фраках, но на все университетские акты следовало являться в синем мундире с малиновым воротником и быть при шпаге. Новым студентам торжественно — «при звуках труб» — раздавали шпаги: «эта публичность придавала много значения новому званию, как гласное признание университетом и всей московской публикой вступления на некоторую степень между согражданами и как печать их участия в дальнейшей судьбе молодого человека»^{37}. Звучали величавые речи, произносилось похвальное слово, читалась специально написанная по этому случаю ода, пел хор, вручались награды отличившимся студентам... Среди награжденных был и студент Тютчев. 6 июля 1820 года в торжественном годовом собрании Московского университета магистр Степан Маслов прочел его стихотворение «Урания», а сам автор удостоился награждения похвальным листом «за отличные успехи и поведение в 1819 —20 учебном году». Я с трудом представляю себе, как Степану Маслову удалось публично произнести эту огромную оду в две сотни стихотворных строк, завершающуюся панегириком императору Александру I:

И музы радостно воспели

Тебя, о царь сердец, на троне Человек!^{38}

Однако эта благостная картина наблюдалась лишь во время публичных актов. Прозаическая действительность была иной. Социальный престиж университетских профессоров был невысок, вернее сказать — просто низок. Они имели средние чины, получали незначительное жалованье и были вынуждены постоянно подрабатывать на жизнь репетиторством. Их внешний вид был жалок. Лишь единицы держали собственный выезд и ливрейных лакеев, подавляющая же их часть пользовалась услугами наемных извозчиков. Небогатые профессора не могли себе позволить дорогую и модную одежду: они носили убогие фризковые шинели из

толстой, весьма ворсистой байки и, по словам современника, «имели вид преследуемых судьбою париев». Профессора университета не принадлежали к так называемому «хорошему обществу», не имели заманчивых служебных перспектив и сами отлично осознавали это печальное обстоятельство. Так повелось со времен Ломоносова. Еще в 1759 году была написана знаменитая эпиграмма Сумарокова:

Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог.
Конечно, голова в почтеньи меньше ног^{39}.

Прошло шесть десятилетий (и каких десятилетий!), но ситуация осталась неизменной. О профессоре Никифоре Евтропьевиче Черепанове, чьи лекции по всеобщей истории слушал Тютчев, рассказывали, что «однажды он сказал некоторым баричам из студентов: “Что уже мне и делать с вами, государи мои! Все вы люди богатые и знатные; выйдете в генералы, приедете ко мне и скажете: “Ты дурак, Черепанов!”»^{40}. Без особого уважения относился к этому профессору и наш герой. Он даже не утруждал себя основательной подготовкой к экзаменам по истории, и лишь дружеская помощь Миши Погодина, своевременно написавшего шпаргалку, помогла Федору Тютчеву достойно выйти из положения.

На лекциях профессора Михаила Трофимовича Каченовского по теории изящных искусств Тютчев, сидя на второй лавке и прикрываясь спиной все того же старательного Миши, частенько «строчил эпиграммы», метившие в лектора. Сидеть на второй лавке было очень удобно: можно было, не опасаясь косых взглядов Каченовского, по несколько минут шепотом беседовать с Мишей, отвлекая трудолюбивого и прилежного друга от конспектирования лекции. Для Миши подобные беседы могли закончиться печально. Погодин был сыном вольноотпущенного дворового человека графа Салтыкова, учился в университете на казенный счет и, постоянно нуждаясь, зарабатывал на жизнь репетиторством. И хотя друзья частенько говорили «о глупых профессорах наших», сын бывшего крепостного прекрасно понимал, что даже малейшая шалость ему, в отличие от студента-аристократа, с рук так просто не сойдет. Вот почему после одной из таких бесед Погодин, доверяя свои сомнения лишь дневнику, долго думал, не рассердился ли именно на него профессор за этот разговор во время лекции^{41}. (Михаил Петрович Погодин станет впоследствии известным историком, профессором Московского университета и академиком. Дружбу с Тютчевым пронесет через всю свою

жизнь, переживет поэта на два года, успев оставить выразительные воспоминания о «молоденьком мальчике, с румянцем во всю щеку, в зеленом сюртучке»^{42}.)

В университете царила вольница, ни о какой дисциплине не было и помину, кутилы и забияки чувствовали себя вольготно, зато юношам благонравным в университетских стенах было неуютно. Двумя годами ранее зачисления Федора Тютчева в число студентов семнадцатилетний Николай Басаргин приехал в Москву из провинции, намереваясь стать вольнослушателем в университете, чтобы впоследствии сдать экзамен за весь курс. Юноша нанес визит ректору и «получил от него записку о дозволении посещать лекции». Будущий член Южного тайного общества декабристов и соратник Пестеля спустя годы так написал о первом и, как оказалось, единственном дне своей университетской жизни: «На другой день рано утром я был уже в классе, но пришедши гораздо прежде профессора, так был возмущен неприличным поведением и дерзостью некоторых подобных мне юных слушателей, что с прискорбием должен был отказаться от университетских лекций и возвратился домой, не зная что с собою делать»^{43}.

Можно лишь улыбнуться, читая это признание. Парадоксальная ситуация: профессора убоги, студенты своевольны, но университет готовил прекрасно образованных людей! Учеба в университете давала мало специальных знаний, однако расширяла кругозор и приучала к самостоятельной работе. Энциклопедический характер университетского образования способствовал успешному уяснению новых идей. «От этого происходило более разнообразия в сведениях, более жизни в разговоре и более широты в их предметах»^{44}. Университет накладывал свою неизгладимую печать на личность воспитанников. Дворянские юноши готовили себя не к ученой карьере, а к государственной службе, причем они заранее не знали, какой именно род деятельности предстоит им в будущем. «Главное достоинство университетского учения состоит в том, что науки ложатся в голову в связи и в системе»^{45}.

*

Судьбе было угодно, чтобы студент Тютчев, в отличие от лицеиста Пушкина, был лишен радости непосредственного общения с Карамзиным, Державиным, Жуковским — людьми первого ряда русской культуры.

Власть высокого таланта, обаяние гения ему не были даны в общении, не совпадали с ним в пространстве и времени; его окружали вечные труженики, во многом архаичные и нелепые, — и Тютчев провел свою юность среди людей достойных, но фигур для русской культуры второстепенных. Он вращался среди разночинцев, чей социальный статус, чьи прирожденные способности и чья начитанность были значительно ниже, чем его собственные. Следствием всего этого стало юношеское высокомерие Тютчева, от которого он не скоро смог избавиться. 23 января 1822 года в дневнике Миши Погодина появилась многозначительная запись: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно...»^[46] Автор дневника вспоминал впоследствии, что Тютчев рассуждал свысока даже о культовых фигурах эпохи: о Виланде и Шиллере, Гердере и Гёте говорил так, «как будто принимал ... в своей предгостиной»^[47].

Своекоштный студент Федор Тютчев крайне редко посещал лекции университетских профессоров, но очень много читал и, обладая прекрасной памятью, легко запоминал прочитанное. Учение давалось ему легко, и за два года, проведенные в университете, он привык к большой свободе, «но труд упорный ему был тошен», — и наш герой до конца жизни так и не смог приучить себя к долговому, упорному и систематическому труду. До момента окончания университета жизнь ни разу не потребовала от него ни существенных усилий, ни серьезных самоограничений. Не был он приучен и к тому, чтобы самому распорядиться собственной судьбой. Это сделали за него другие. «Странная вещь — судьба человеческая. Надобно же было моей судьбе вооружиться уцелевшею Остермановскою рукою, чтобы закинуть меня так далеко от вас»^[48] — такой вывод в октябре 1840 года, то есть спустя почти два десятилетия, сделает Федор Иванович в письме родным. Приходившийся Тютчеву троюродным дядей, герой Наполеоновских войн граф Александр Иванович Остерман-Толстой одну руку потерял в битве при Кульме. Но и одной генеральской руки хватило для того, чтобы радикально изменить судьбу племянника, «закинув» того из Москвы в Мюнхен.

Впрочем, я несколько забежал вперед. Влиятельная родня стремилась поскорее определить Федора на службу, ибо появилась возможность «пристроить» его на хорошее место при русской дипломатической миссии в Баварии. Но для этого следовало сначала получить аттестат об окончании университета. Попечитель Московского учебного округа князь Андрей Петрович Оболенский, хотя и получил к этому времени чин тайного

советника, не мог собственной властью позволить своекоштному студенту держать досрочный экзамен. Он подписал официальное ходатайство о допущении одного-единственного студента к испытанию, засвидетельствовав министру отличные способности Тютчева и его успехи в науках. Последнее слово оставалось за Петербургом. В ход были пущены связи — и министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Николаевич Голицын сделал для студента Тютчева исключение из общих правил. Вместо обязательного трехлетнего курса обучения ему уже через два года позволили держать экзамен для получения университетского аттестата. «По окончании испытания все члены отделения, основываясь на положении о производстве в ученые степени, единогласно положили... что он, Тютчев, не только достоин звания действительного, но и звания кандидата словесных наук»^[49]. Решение отделения словесных наук было направлено попечителю и им одобрено: 23 ноября 1821 года (в день своего восемнадцатилетия!) Федор Тютчев, этот баловень судьбы, был утвержден в кандидатском достоинстве. Путь для начала дипломатической карьеры был открыт.

*

Государство было заинтересовано в том, чтобы образованные дворяне пополняли ряды чиновников, ибо *крапивное семя*, отличаясь практической сметкой в делах, не имело ни серьезных теоретических познаний, ни широты кругозора. В 1809 году император Александр I запретил жаловать чин коллежского асессора (VIII класс Табели о рангах), дававший права потомственного дворянства, чиновникам, не имевшим университетского аттестата или же не сдавших соответствующих экзаменов. Одновременно выпускники университетов получили право начинать службу с определенным классным чином, который зависел от успехов при окончании учебного заведения. Дабы «вознаградить» дворянских юношей за годы, проведенные за учебной партой, и побудить их хорошо учиться, «разброс» чинов был достаточно велик: от коллежского регистратора и до коллежского секретаря, то есть с XIV по X класс Табели о рангах. А ведь многие представители крапивного семени долгие годы скрипели перьями в качестве копиистов, протоколистов и писарей, прежде чем получили первый классный чин коллежского регистратора, воспетого русской литературой.

Тютчев, блистательно сдавший выпускные экзамены и получивший

степень кандидата Московского университета, имел право при поступлении на государственную службу претендовать сразу на чин коллежского секретаря. Однако это право ему еще предстояло реализовать *практически*. Именно с чином коллежского секретаря был выпущен из Лицея и определен в Иностранную коллегию Пушкин, не блиставший, как известно, своими успехами и окончивший Лицей по второму разряду, а золотой медалист князь Горчаков начал действительную службу с чина IX класса. В эти годы социальный престиж Царскосельского лицея не шел ни в какое сравнение с престижем Московского университета, вот почему второразрядный выпускник Лицея (говоря точнее, «четвертый с конца») автоматически получил то, о чем кандидат университета мог только мечтать. Следовало отправиться в Петербург, явиться в Правительствующий сенат и, представив диплом кандидата, терпеливо дожидаться решения Сената о пожаловании классного чина. Для ускорения процесса получения искомого чина имело смысл завести личные знакомства среди сенатских секретарей, всем известных мздоимцев и крючкотворов. Кандидат Московского университета в Петербург поехал, но утруждать себя хлопотами не стал. Знаток и переводчик Горация плохо знал реальности русской жизни и, по известному выражению Пушкина, был «совершенно чужд ходу деловых бумаг». В итоге Тютчев получил всего лишь чин губернского секретаря, то есть XII класс вместо X, причем он уехал в Мюнхен, не дождавшись решения Сената и не реализовав свое право на более высокий чин. Эта мелочь, на которую он первоначально даже не обратил внимания, впоследствии весьма существенно сказалась на его карьере. Низкий чин не позволял Тютчеву занимать сколько-нибудь значимые должности. В начале своего служебного поприща он на два чина отставал от Горчакова и на один — от Пушкина.

Уместно напомнить, что будущий знаменитый дипломат и последний в истории Российской империи государственный канцлер князь Александр Горчаков сознательно избрал дипломатическую карьеру. Даже в лицейские годы он поражал товарищей своей рассудительностью, столь редко встречающейся в юные годы. Сохранился удивительный документ — письмо лицеиста, в котором он еще за год до выпуска излагает свои благоразумные мысли о будущей карьере: «Вы позволили мне говорить вам о себе; я воспользуюсь сим позволением. Долго колебался я между родом службы, которой бы мне избрать. Военная, хотя не представляла мне почти ничего привлекательного в мирное время, кроме мундира, которым отныне прельщаться представляю молодым вертопрахам, однако я все же имел предрассудок думать, что молодому человеку необходимо начать службу с

военной. Ваши советы решили сомнения мои, и я предоставляю другим срывать лавры на ратном <поприще> и решительно избираю статскую, как более сходную с моими способностями, образом мыслей, здоровьем и состоянием; и надеюсь, что так могу быть более полезным. Без сомнения, если бы встретились обстоятельства, подобные тем, кои ознаменовали 12-й год, тогда, по крайней мере, по моему мнению, каждый чувствующий в себе хотя бы малую склонность к военной, должен бы посвятить себя оной, и тогда бы и я, хотя не без сожаления, променял перо на шпагу. Но так как, надеюсь, сего не будет, то я избрал себе статскую и из статской, по вашему совету, благороднейшую часть — дипломатику. Заблаговременно теперь стараюсь запастись языками, что, кажется, составляет нужнейшее по этой части. Русский, французский и немецкий я довольно хорошо знаю; в английском сделал хорошие начала, и надеюсь, нынешнее лето усовершенствоваться в оном. Кроме того, может быть, займусь еще итальянским, потому что открылся случай. Латинский только никак в голову не идет. Главное дело было бы приобрести практические знания, чего в лицее сделать нельзя»^[50]. Размышляя о собственной карьере, князь прекрасно выразил дух времени и очень точно сформулировал основные тенденции эпохи. Так могла рассуждать и родня Тютчева.

Федора Тютчева, благодаря хлопотам троюродного дяди графа Остермана-Толстого, причислили к русской миссии сверх штата. Ему надлежало уяснить и практически освоить множество мелочей, из которых впоследствии складывалась его ежедневная дипломатическая служба. Если князь Горчаков уже на лицейской скамье заблаговременно подготовился к будущей деятельности, то Тютчеву еще только предстояло научиться «писать депеши, держать журнал, делать конверты без ножниц, различные формы пакетов и пр. и пр.»^[51]. В течение нескольких лет молодой дипломат, обладавший в те годы каллиграфическим почерком, изысканным и четким, терпеливо переписывал многочисленные служебные документы и отправляемые в Петербург депеши, которые по сию пору хранятся в Архиве внешней политики России. Это и было его основной служебной обязанностью. Выдвинуться на этом поприще и досрочно получить чин за *отличие* было невозможно. В итоге Тютчев возненавидел сам процесс писания и впоследствии даже свои стихи предпочитал диктовать, а уж если записывал их сам, то делал это крайне неаккуратно, корявым и крючковатым почерком, не имевшим ничего общего с каллиграфией его юности. С годами Тютчев стал писать такими немыслимыми каракулями, что сам невольно поражался своему отвратительному, мерзкому и

свинскому, как он признавался, почерку. Примечательно, что в этой метаморфозе не было ничего из ряда вон выходящего. Владелец великолепного почерка лицеист Горчаков писал охотно и много (сохранились и впоследствии были напечатаны его образцовые конспекты лекций профессора Куницына), зато у канцлера Горчакова почерк стал крупным и некрасивым — и князь «мастерски диктовал, диктовал охотно, с увлечением, прекрасно, но терпеть не мог писать»^{52}.

*

Жалованье дипломатов ощутимо превосходило денежное содержание, которое получали чиновники, служившие в России, ибо дипломатам оно выплачивалось не ассигнациями, а звонкой монетой — золотом и серебром. (Один серебряный рубль, так называемый целковый, официально обменивался на 3 рубля 50 копеек ассигнациями. Золотой червонец соответствовал трем рублям серебром, а золотой империял — десяти целковым.) Выражаясь современным языком, труд дипломатических чиновников оплачивался твердой, свободно конвертируемой валютой. Однако и неизбежные для дипломата расходы на представительство были велики и значительно превышали его официальное жалованье. Вот почему родители Тютчева многие годы регулярно посылали сыну по шесть тысяч рублей ассигнациями в год. Эта родительская пенсия заметно превосходила государево жалованье, которое, подчеркнем это обстоятельство, ему стали выплачивать только начиная с 17/29 апреля 1828 года, то есть после назначения на штатную должность второго секретаря миссии в Баварию^{53}.

Назначения пришлось ждать без малого шесть долгих лет. Иными словами, почти *шесть лет* наш герой ни копейки не получал из государственной казны, и его содержали родители.

Типично российская история. Блестяще образованный молодой человек и столбовой дворянин день за днем и год за годом терпеливо переписывал не им сочиненные бумаги всего лишь для того, чтобы раз в три-четыре года — да и то после длительных и весьма болезненных для его самолюбия проволочек — получить очередной чин. Однако получение нового чина первоначально никак не было связано с ростом оклада по причине его отсутствия, а впоследствии сопровождалось столь незначительным повышением жалованья, что об этом даже не стоило серьезно говорить. Спрашивается, для чего он это делал? Вряд ли он сам

мог дать вразумительный ответ на этот вопрос. Так служило все потомственное дворянство. Считалось, что дворянин служит из *чести*. Впрочем, уже в начале XIX века поэма Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед» (1811) чутко зафиксировала некоторый сдвиг в настроениях дворянства. К подобному объяснению стали относиться иронически: одно из действующих лиц поэмы, безногая кухарка при борделе, заявила: «Из *чести* лишь одной я в доме здесь служу». Социальная инерция была так высока, что десятилетие шло за десятилетием, но ирония была сама по себе, а поведение служивого дворянства было само по себе. И спустя столетие практически ничего не изменилось.

Один из наиболее известных «мирискусников», сын генерала и потомственный дворянин Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957), окончивший университет по первому разряду, вспоминал о собственном служебном дебюте, который совпал с началом XX века: «В те времена, можно сказать, все служили. Это была старая традиция, которая еще крепко держалась в России, особенно в “чиновничьем городе” Петербурге. Служили потому, что это было “принято” и давало общественное положение, а в будущем какую-то пенсию. <...> Глупее всего было то, что, закабалив себя ради жалованья, я на своей службе не получал пока ни копейки! Полагалось выдержать какой-то законный срок! (Только почти через два года я стал получать настолько приличное жалованье, что наконец мог не пользоваться той субсидией, которую получал от моего отца.) <...> И первое жалованье — 45 рублей в месяц — было назначено только через полтора года, когда я перестал быть “И. О.” и был “осчастливлен” утверждением в должности и в чине коллежского секретаря. Многие находили, что это редкое по быстроте начало служебной карьеры, и даже поздравляли!»^{54}

Вероятно, и Тютчева поздравляли в свое время, ибо дипломатическая карьера была заветной мечтой многих чиновников, но лишь редкие счастливицы могли ее реализовать, а круг чиновников, служивших за границей, был еще уже. Со времен гоголевского «Невского проспекта» было известно, что чиновники Иностранной коллегии «отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников»^{55}. В словах Гоголя видна нескрываемая ирония, но, действительно, обращение начальников с Тютчевым иначе как

исключительно тонким назвать нельзя.

*

Уже через три года после того как Тютчев прибыл в Мюнхен^[6], его непосредственный начальник посланник в Баварии граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков направил в Петербург ходатайство о пожаловании молодому чиновнику придворного звания камер-юнкера. Нравы той далекой эпохи были таковы, что посланник, мотивируя свое представление, посчитал возможным в официальном документе сослаться на родственные связи своего подчиненного. Документ стоит того, чтобы его процитировать.

«Этот чиновник, наделенный незаурядными способностями, не потерял понапрасну те три года, что находился при моей миссии. Употребив это время с большой пользой для себя, он вполне успешно выполнял и свои обязанности по службе, что побудило меня склониться к просьбам графини Остерман, близкой его родственницы. В продолжении минувшего года графиня не раз говорила мне о том, сколь признательна была бы она, если б я попросил ваше превосходительство перед государем императором о даровании г-ну Тютчеву придворного звания. Г-жа Остерман прибавляет, что о том же настоятельно просит и отец молодого человека, немощный старец, который настойчиво домогается, чтобы эта честь была оказана его сыну. Я не смею просить об оказании подобной милости как о награде за те три года, которые г-н Тютчев служил при моей миссии, поскольку труд, которым он занимался, не имеет большого значения и не дает ему права на сие изъятие монаршей благосклонности. Однако я решаюсь присоединиться к просьбам графини Остерман и ходатайствовать в его пользу, ибо не сомневаюсь, что в будущем он оправдает высочайшую милость своим усердием и преданностью службе»^[56].

Ходатайство было уважено. Высочайшая милость воспоследовала. Федор Тютчев, не достигший еще двадцати трех лет, получил звание камер-юнкера и сопряженное с ним право на дорогой и нарядный придворный мундир. Во времена Александра I это звание было именно милостью, а не наградой за службу: царь жаловал им исключительно «по известности фамилии или во уважение службы родственника»^[57]. К слову сказать, честолюбивый князь Александр Михайлович Горчаков буквально до

последних дней жизни не мог забыть ту досаду, которую он пережил в молодые годы, когда глава русского дипломатического ведомства граф Нессельроде отказался поддержать такую же просьбу влиятельного горчаковского родственника. «Да ни за что! — ответил Нессельроде. — Посмотрите, он уже теперь метит на мое место»^[58]. Это звание Горчаков смог получить лишь через несколько лет, но предчувствия не обманули графа: именно князь Александр Михайлович стал его преемником на посту министра иностранных дел. Тютчева же в излишнем честолюбии граф, судя по всему, не подозревал. Племянник знаменитого генерала был для него всего лишь одним из многих блестящих и многообещающих молодых людей, о которых в старости говорят, что у них в прошлом было большое будущее.

*

Пожалование Тютчеву придворного звания совпало по времени с его отъездом в отпуск. В Москве он появился уже камер-юнкером — и наблюдательные современники чутко уловили в поведении Федора Ивановича заметный налет дипломатической фанфаронады. Обратимся к дневнику Михаила Погодина за 1825 год.

«20—25 июня. Мечет словами, хотя и видно, что он <Тютчев> там не слишком много занимался делом; он пахнет двором. — Отпустил мне много острот. В России канцелярия и казармы. — Всё движется около кнута и чина. — Мы знали афишку, но не знали действия и т. п.

26 июня. Тютчев своими триумфами поселил во мне недовольность что ли?

17 сентября. Говорил с Тютчевым, с которым мне не говорится. Остро сравнил он наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением»^[59].

Даже искренне расположенный к Тютчеву автор дневника с большим трудом скрывает свое невольное раздражение: тютчевское остроумие нередко переходит в бахвальство, для которого, впрочем, у него были определенные основания. Судьба продолжала улыбаться нашему герою. Она щедро расточала свои дары и не торопилась предъявить счет за свои благодеяния. Казалось, что так будет всегда: комфортабельная жизнь в Мюнхене, блага европейской цивилизации, возможность видеть мир и свободно читать любые книги, неотъемлемые служебные

обязанности, изысканное общество прелестных женщин и умных мужчин, искренняя привязанность красивейших дам, поэтическое творчество — «вся эта жизнь, столь сладостная, столь полная ласки, столь обильная привязанностями и благоденствием»^[60] ^[7]

*

Но наступил декабрь 1825 года, а за ним и новое царствование. За несколько дней до восстания декабристов камер-юнкер Тютчев, находившийся в это время в отпуске, из Москвы прибыл в Петербург. (Отпуск был дан сроком на четыре месяца, но не отличавшийся дисциплинированностью чиновник только через восемь месяцев вернулся в Мюнхен.) Ни он, ни его старший брат не были членами тайного общества, однако их имена были упомянуты в доносе, который юнкер Артиллерийского училища Ипполит Завалишин 26 апреля 1826 года направил на имя императора Николая I. В дополняющей донос «Записке» от 25 июня доносчик утверждал, что братьям Тютчевым были известны замыслы декабристов, то есть формально их можно было привлечь к следствию за недонесение на злоумышленников. Следователи обратились за разъяснениями к находившемуся под следствием лейтенанту Дмитрию Завалишину, старшему брату доносчика. Лейтенант флота дал благоприятный отзыв о молодом дипломате: «Он совершенно немецкий Придворный, любящий этикет и в полном смысле слова Аристократ. <...> Я одно смело могу подтвердить, что Федор Тютчев был весьма привязан к покойному Императору»^[61].

К счастью для братьев Тютчевых, донос был подан слишком поздно: в это время следствие уже подходило к концу, и следователи, выполняя высочайшую волю, сознательно не хотели без особой нужды увеличивать число подозреваемых^[62]. Если бы юнкер Завалишин подал свой донос тремя месяцами ранее, то Тютчевым скорее всего не удалось бы избежать ареста. Однако братья не только не были арестованы, но над ними даже не был учрежден «бдительный надзор», и донос никак не сказался на их судьбе.

В августе 1826 года, после того как русская миссия в Мюнхене получит приговор по делу декабристов и другие материалы судебного процесса, возвратившийся к своему месту дипломат напишет, но так и не опубликует при своей жизни стихотворение «14 декабря 1825».

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил, -
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена -
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железнаядохнула —
И не осталось и следов^{63}.

Написаны сотни томов о том, как при Николае I резко изменилась общественная атмосфера, но все они меркнут на фоне трех пушкинских строк из стихотворения «Друзьям»:

Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами^{64}.

В это время Тютчев продолжал служить в спокойном Мюнхене, который постепенно превращался в заштатную европейскую столицу. И русская миссия в Баварии, и сам Тютчев волею судеб оказались в стороне и от двух войн, персидской и турецкой, и от надежд начала николаевского царствования, и от каких-либо значимых для Империи трудов.

Кажется, что именно это и помешало Николаю I своевременно обратить внимание на молодого дипломата и дать ход представлениям его начальников: Тютчев продолжал переписывать в Мюнхене чужие депеши и был в стороне от большой политики. Но это всего лишь иллюзия. В книгах о царствовании Николая I очень мало сказано о тех изменениях, которые произошли в механизме бюрократического аппарата и были обусловлены нежеланием императора пускать молодежь во власть. Представления

молодых чиновников к очередным чинам месяцами лежали без движения: прохождение документов по инстанциям намеренно затягивалось.

Лишь 29 марта 1826 года Тютчев получил чин коллежского секретаря, на который, как мы помним, имел право с момента окончания Московского университета. И хотя чин был дан со старшинством с 25 февраля 1825 года, это уже никак не могло компенсировать фактическую потерю для карьеры трех лет службы^[8]. 31 октября 1829 года Тютчев был пожалован чином титулярного советника со старшинством с 25 февраля 1828 года^[65]. Князь Горчаков стал титулярным советником в 19 лет, а Тютчев — только в 26. По Табели о рангах этот статский чин соответствовал чину армейского капитана. В предшествующее царствование в таком возрасте можно было достичь гораздо большего. Впрочем, ни сам легкомысленный Федор Иванович, ни его более опытные непосредственные начальники не смогли своевременно оценить это немаловажное для судьбы карьерного дипломата обстоятельство.

*

Примерно в конце июля — августе 1826 года в Париже состоялось бракосочетание Тютчева с лютеранкой и вдовой русского дипломата Элеонорой Петерсон, урожденной графиней фон Ботмер, которая была старше своего второго мужа на три года. В первом браке она родила четверых сыновей, от которых фактически отказалась ради брака с Тютчевым. Один ребенок умер в младенчестве, остальные дети, лишенные материнской ласки, воспитывались в Петербурге.

Жених и невеста принадлежали к разным конфессиям. Поэтому заключать брак нужно было дважды — по православному и лютеранскому обрядам. Для того чтобы совершить венчание по православному обряду, чиновнику зарубежной дипломатической миссии следовало предварительно получить разрешение императора на заключаемый брак. Федор Иванович, легкомысленно избегая лишних хлопот и обременительных формальностей, обязательных, однако, в его официальном положении чиновника дипломатической миссии, не испросил высочайшее соизволение на свой брак, что для карьерного дипломата той поры было поведением, мягко говоря, неординарным. Венчание было совершено по лютеранскому обряду. Такой брак мог считаться законным только в Баварии, но никак не в России. Брак не был освящен православной

церковью, и будущие дети считались бы в России незаконнорожденными. Рано или поздно это обстоятельство должно было поставить нашего героя в ложное положение.

Федор Иванович и Элеонора вместе путешествовали, несколько лет открыто жили в Мюнхене как муж и жена и только 27 января/8 февраля 1829 года обвенчались по православному обряду. Мы не знаем, как Элеонора реагировала на эту неспешность своего возлюбленного, но сам Федор Иванович никаких неудобств от своего «тайного брака» не испытывал. И лишь очевидная для всех беременность Элеоноры заставила Тютчева узаконить отношения с матерью своего будущего ребенка. Уже через три месяца после венчания, 21 апреля/3 мая того же года, у молодой четы родилась дочь Анна^[66].^[9]

*

Федор Иванович снискал себе всеобщее уважение. Генрих Гейне называл молодого русского дипломата своим лучшим и истинным другом и высоко ценил его остроумие. Дружескими отношениями с Тютчевым дорожили. Им восхищались и его любили не только соотечественники, но и интеллектуальная элита Баварии. Ректор Мюнхенского университета Фридрих Вильгельм Тирш в беседе с Петром Васильевичем Киреевским, который слушал лекции в университете, так отзывался о Тютчеве: «Это светлая голова, очень образованный человек и дипломат». Ректору вторил известный философ профессор Шеллинг: «Это превосходнейший человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь»^[67]. Иван Васильевич Киреевский был покорен личным обаянием своего соотечественника: «Желал бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России. Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам»^[68].

Незаурядные способности молодого дипломата вызывали искреннее восхищение всех его непосредственных начальников, осознававших, что невысокий чин Тютчева препятствовал ему занять подобающее место в дипломатическом мире и долгие годы вынуждал оставаться всего лишь вторым секретарем второстепенной дипломатической миссии. В феврале 1831 года очередной русский посланник в Баварии Иван Алексеевич Потемкин направил министру иностранных дел ходатайство о пожаловании Тютчеву чина коллежского асессора: «Со временем редкие

дарования этого чиновника послужат на пользу государства, и лишь одно для этого необходимо — такое положение, которое способствовало бы полному развитию его дарований»^{69}.

Чтобы занять такое положение, следовало подрасти в чинах. А это, в свою очередь, вело к новым расходам и неотвратимым долгам. Любовная связь, а впоследствии брак с Элеонорой Петерсон и рождение дочерей — всё это новые расходы и новые долги...

Иван Алексеевич Потемкин прекрасно понимал, что недостаточность средств неизбежно обрекала Тютчева на состояние постоянной нужды. Посланник был к нему дружески расположен и искренне стремился помочь. Ходатайствуя в Петербурге о повышении Федору Ивановичу жалованья, Потемкин соглашался даже на то, чтобы это повышение было осуществлено за счет сокращения его собственного должностного содержания. Сделать такой неординарный шаг посланника побудило отсутствие положительного ответа на его предыдущее представление полугодовой давности, в котором он испрашивал Тютчеву очередной чин. «Скромность его содержания совершенно не соответствует расходам, к которым его вынуждает положение человека женатого и дипломата, ибо, не совершая этих расходов, он не может оставаться на уровне того общества, где ему надлежит вращаться не только по должности, но и в силу личных его достоинств»^{70}. Завершил свое новое представление посланник фразой, которую в устах дипломата можно было бы почесть за дерзость: «...как я уже почел своим долгом заметить вашему превосходительству, у него есть способности; тем не менее, за десять лет усердной службы, засвидетельствованной его начальниками, ни разу г-ну Тютчеву не посчастливилось заслужить ни малейшего знака поощрения от Министерства»^{71}.

Но и этот ход дипломата не увенчался успехом: «...это ходатайство даже не было удостоено ответом»^{72}, а сам Потемкин вскоре был переведен посланником в Гаагу.

Почему же этим представлениям не был дан ход? Наступила иная эпоха. Новый царь Николай I -«суровый и могучий» — с большим неодобрением смотрел в сторону маменькиных сынков, «которые ничего не делают и даром получают награды»^{73}. Для Тютчева ситуация осложнялась тем, что прославленный генерал граф Остерман-Толстой не ладил с императором Николаем и навсегда покинул пределы России. Наш герой лишился мощного покровительства, что моментально сказалось на отношении к нему графа Нессельроде. Для министра иностранных дел

камер-юнкер Тютчев на долгие годы потерялся в толпе чиновников его ведомства.

*

К началу 1830-х годов долги Тютчева и его семьи составили 12 тысяч рублей ассигнациями, что примерно в четыре с половиной раза превосходило его должностное денежное содержание за год. Жена Федора Ивановича была в панике. Через брата мужа она обратилась к его родителям с просьбой уплатить долги: «Увы, я отнюдь не неблагодарна и очень хорошо сознаю, что они сделали для нас более того, на что мы имели право рассчитывать, но вместе с тем я уверена, что, если бы они знали, к чему обязывает нас наше положение, они поняли бы, что при 10 000 рублях содержания приходится делать кучу долгов, чтобы вести дом, и таким образом вполне естественно, что затруднения наши должны увеличиваться»^[74]. Наконец, волей-неволей преодолевая собственную робость и даже чувство приличия, Элеонора Тютчева позволила себе вмешаться в служебные дела мужа и откровенно побеседовала о них с новым посланником князем Григорием Ивановичем Гагариным. И лишь 31 июля/12 августа 1833 года, уже при новом посланнике, Тютчеву был наконец пожалован чин коллежского асессора со старшинством с 25 февраля 1832 года^[75].^[10] Кроме того, 10/22 августа 1833 года последовало высочайшее соизволение прибавить к его жалованью 200 рублей «с курсом» в год, то есть речь шла не об ассигнациях, а о 200 целковых. С этого момента годовое жалованье Тютчева составило тысячу целковых, что было в полтора раза меньше родительского пенсионера.

У дипломатов того времени была единственная в своем роде возможность посмотреть Европу и одновременно вполне легально пополнить собственный карман за государственный счет. Эта возможность именовалась «курьерской дачей» и представляла собой дипломатическую почту, посылаемую с курьером, которому выдавалась солидная сумма на дорожные расходы^[76]. Сумма выплачивалась золотом в свободно конвертируемой валюте и была столь велика, что ради нее Тютчев готов был, забыв о своей всегдашней боязни пространства, настойчиво домогаться курьерской дачи. Так он изъездил всю Европу. Дипломатическому курьеру надлежало — даже в ущерб собственному комфорту — находиться в пути днем и ночью, передвигаясь с курьерской

скоростью, то есть очень быстро. Но не таков был наш герой. «Что касается меня, то благодаря скромному способу передвижения, который я избрал для своей курьерской поездки, мне удалось израсходовать всего сто дукатов. У меня остается еще двести. Этих денег должно хватить для того, чтобы приехать в Турин и дотянуть до конца года»^{77}. Впрочем, не следует судить его слишком строго, ибо такова была давняя дипломатическая практика. В октябре 1787 года молодой гвардейский офицер Евграф Комаровский был послан дипломатическим курьером из Петербурга в Лондон. Об итогах своей поездки он простодушно поведал в воспоминаниях: «Когда граф Воронцов прочитал привезенные мною депеши, то сказал: “Комаровский привез старые газеты, видно, графу Безбородке хотелось познакомить его с Лондоном”»^{78}.

В течение десяти лет Федор Иванович всего лишь переписывал чужие депеши и развозил их по Европе. Но однажды Тютчев оказался в эпицентре большой дипломатической игры, суть которой для нас — за давностью лет — не имеет практически никакого значения. Важно лишь то, что в эту игру были вовлечены великие державы того времени, — и «на Тютчева возлагалась неофициальная дипломатическая миссия, весьма ответственная и нелегкая»^{79}. После ее завершения Федору Ивановичу впервые представилась уникальная возможность самостоятельно составить проект важной депеши министру иностранных дел. Наконец-то у него появился шанс быть замеченным и выдвинуться по службе, превратившись из зрителя в действующее лицо происходивших событий. Как же он воспользовался этим шансом?

Представленный дипломатом проект депеши был развернутой метафорой, что не лезло ни в какие ворота, то есть не укладывалось в общепринятые нормы составления такого рода документов. Судите сами. «Волшебные сказки изображают иногда чудесную колыбель, вокруг которой собираются гении — покровители новорожденного. После того, как они одарят избранного младенца самыми благодетельными чарами, неминуемо является злая фея, навлекающая на колыбель ребенка какое-нибудь пагубное колдовство, имеющее свойством разрушать или портить те блестящие дары, коими только что осыпали его дружественные силы. Такова, приблизительно, история греческой монархии. Нельзя не признать, что три великие державы, взлелеявшие ее под своим крылом, снабдили ее вполне приличным приданым. По какой же странной, роковой случайности выпало на долю баварского короля сыграть при этом роль злой феи? И право, он даже слишком хорошо выполнил эту роль, снабдив

новорожденную королевскую власть пагубным даром *своего Регентства!*. Надолго будет памятен Греции этот подарок “на зубок” от Баварского короля»^[11]. Посланник князь Гагарин забраковал предложенный текст. Уникальный шанс был упущен.

*

Второй секретарь русской дипломатической миссии в Баварии продолжал тянуть не очень обременительную служебную лямку, вольно или невольно избрав амплу «зрителя», внимательно наблюдавшего за сценой европейского политического театра и уже не претендующего на то, чтобы самому сыграть хоть какую-нибудь роль на этой сцене. Предоставим слово хорошо осведомленному современнику: «Мюнхен был для него <Тютчева> средоточием Европы, точнее это была некая ложа, из которой он наблюдал Европу»^[80].^[12]

«Говорят, есть люди, которые так страстно любят театр, что готовы подвергать себя лишениям, обходиться даже без обеда, лишь бы только бывать в театре. Тютчев был отчасти в этом роде. Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым глубоким, самым заветным его наслаждением было наблюдать зрелище, которое представляет мир, с неутомимым любопытством следить за изменениями и делиться впечатлениями со своими соседями. Что особенно ценил он в людях, так это зрелище, которое представляли ему их души: он изучал их; он их анализировал, он их в известном смысле анатомировал, и бесконечное разнообразие характеров давало его исследованиям ту пищу, которую он всегда алкал. Не хочу сказать, что здесь он был совершенно бескорыстен: кресло в партере или ложу на авансцене он предпочитал задним рядам и даже способен был на некоторые усилия, чтобы получить место получше, но никакие материальные успехи и никакие радости удовлетворенного самолюбия ничего не стоили бы в его глазах, если бы он должен был покупать их ценою отречения от главного интереса, который он находил в самом зрелище»^[81].

Хорошо наблюдать за происходящим, когда ты вполне независим. Но для человека, который продолжал числиться на государственной службе, роль зрителя была не вполне уместна, ибо плохо совмещается с исполнением служебных обязанностей. Сознательно не желая покидать берег и вступать в поток политических событий, наш герой, однако же,

плыл по течению, избрав наименее эффективную жизненную стратегию. О своих служебных делах Федор Иванович говорить не любил. «Это слишком пошло и слишком скучно. <...> Так как я никогда не относился к службе серьезно, — справедливо, чтобы служба также смеялась надо мной. Пока положение мое становится все более и более фальшивым... Я не могу помышлять о возвращении в Россию по той простой и превосходной причине, что мне не на что будет там существовать, с другой стороны, у меня нет ни малейшего разумного повода упорно держаться службы, которая ничего не обещает мне в будущем»^[82]. Достижение карьерного успеха при такой «стратегии» было сомнительно, а продолжение службы вело лишь к новым долгам и расстройству отцовского состояния. Федора Ивановича никогда не посещало желание взять бразды правления из рук стареющего отца и заняться хозяйством в родовых имениях. Он был абсолютно непрактичен в житейском смысле и не заботился о том, чтобы передать отцовское достояние своим детям в полном порядке и обеспечить подрастающих дочерей приданым. Тютчев достаточно тонко чувствовал дипломатическую интригу, чтобы активно участвовать в дипломатической деятельности, но он не был способен на поступок. Он не решался порвать со службой и вернуться в Россию.

*

Оставаясь зрителем в области практической политики, Федор Иванович никогда не был платоническим созерцателем в любви. Здесь он действовал энергично и настойчиво, умел добиться успеха и этот успех удержать. Вяло текущая карьера была всего лишь бледным фоном для его ярких сердечных увлечений и любовных переживаний. «Жаркий поклонник женской красоты, он охотно посещал светское общество и пользовался там успехом»^[83]. Таким он был уже в годы студенческой юности. Жизнь в Мюнхене лишь усилила тютчевское «обожание женщин и преклонение перед ними». Однако и в своих взаимоотношениях с женщинами Тютчев предпочитал плыть по течению, уклоняясь от принятия самостоятельных решений, способных изменить судьбу. Именно так обстояло дело, когда новоиспеченный кандидат Московского университета покинул Первопрестольную и тех, кому поклонялся, но чьи имена до нас не дошли. Известно лишь то, что они *были*. Таков итог подавляющего большинства романов студенческой поры. Важно, однако, другое. Тютчев

подчинился сиятельной родне и отправился на службу в Баварию, расставшись со своими сердечными увлечениями и даже не пытаясь изменить ситуацию.

Лишь под давлением обстоятельств он узаконил свои отношения с Элеонорой Петерсон, но и сделавшись человеком семейным, Федор Иванович не стал обременять себя неизбежными практическими проблемами, грациозно переложив их решение на хрупкие плечи Нелли. Как мы уже видели, именно она хлопотала перед родней мужа об уплате долгов, а перед его непосредственным начальником — о повышении незадачливого дипломата в должности и чине. Сам Федор Иванович оставался выше этого. Отлично сознавая собственную непрактичность, он «вознаграждал себя тем, что питал некоторое презрение к натурам положительным и практическим», — и всю свою жизнь охотно пользовался их услугами. «Какой ты пустой человек», — заметил ему однажды брат Николай. Тютчев согласился, вполне признав справедливость суждения старшего брата. Федор Иванович не чувствовал себя обиженным нелюбезной характеристикой: «это нисколько не унижало его, как не унижает соловья то, что он не может делать воловью или ослиную работу»^[84]. Его природная лень усугублялась отсутствием привычки к систематической работе, что нисколько не мешало поэту претендовать на должность, добросовестное исполнение которой требовало от чиновника положительности и практичности. 31 декабря 1835 года Тютчев был пожалован придворным званием камергера и переименован в младшего секретаря при русской дипломатической миссии в Баварии.

Обретение этого высокого придворного звания позволяло надеяться на карьерный рост — получение поста старшего секретаря при миссии либо в Баварии, либо в одном из крупных европейских государств. Старший секретарь был правой рукой посланника, обязанности которого исполнял в его отсутствие. Сам Федор Иванович хотел перебраться в Вену, одну из наиболее крупных дипломатических столиц того времени, но ровным счетом ничего не делал для обретения должности, великодушно предоставив другим право ходатайствовать об улаживании своих служебных дел, — и мысль о весьма вероятном в будущем собственном служебном несоответствии ни разу не посетила умную голову этого беспечного человека. Ему было не до презренной прозы жизни. У поэта был очередной роман, имевший неожиданные последствия и положивший предел затянувшемуся пребыванию Тютчева в Мюнхене. Уютная тютчевская ложа, из которой он наблюдал всю Европу, сама превратилась в объект наблюдения и привлекла внимание Петербурга.

В феврале 1833 года Тютчев был представлен юной баронессе Эрнестине фон Дёрнберг. Через несколько дней барон Дёрнберг стал жертвой эпидемии тифа. Эрнестина овдовела. Прошло несколько месяцев, и наблюдательная Элеонора Тютчева дипломатично написала своему деверю: «Теодор легкомысленно позволяет себе маленькие светские интрижки, которые, как бы невинны они ни были, могут неприятно осложниться. Я не ревнива, и у меня для этого как будто нет оснований, но я беспокоюсь, видя, как он сумасбродничает; при таком поведении человек легко может оступиться»^[85].

На самом деле для беспокойства были все основания. Роман русского дипломата и молодой богатой вдовы продолжался несколько лет. Были тайные свидания и совместные путешествия, молчаливыми свидетелями которых стали цветы в гербарии-дневнике Эрнестины, были шедевры тютчевской любовной лирики, и был громкий публичный скандал, устроенный Элеонорой... Тайну семейственных отношений младшего секретаря русской дипломатической миссии и камергера высочайшего двора не удалось надежно укрыть в четырех стенах его наемной квартиры: скандал был вынесен на улицу и стал достоянием мюнхенской площади Каролиненплац, на которой в маленьком восьмиугольном домике № 1 жили Тютчевы, а в особняке под № 3 квартировал посланник и полномочный министр князь Григорий Гагарин^[86].

«Позже она сама рассказывала мне, что через час после моего ухода она почувствовала как бы сильный прилив крови к голове, все ее мысли спутались, и у нее осталось только одно сознание неизъяснимой тоски и непреодолимое желание освободиться от нее во что бы то ни стало. По какой-то роковой случайности ее тетка только что ушла, а ее сестры не было в комнате, когда начался припадок... Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. При виде его она вдруг поняла, что ей надо делать, и в припадке полного исступления нанесла себе несколько ударов в грудь. К счастью, ни один не оказался опасным. Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств»^[87]. Так младший секретарь русской дипломатической миссии Федор Тютчев в письме своему приятелю атташе князю Ивану Гагарину поведал об одном из самых драматических эпизодов своей семейной жизни.

Восстановим хронологию событий. 12 апреля 1834 года у Элеоноры и Тютчева родилась еще одна девочка — Дарья, а ровно через полтора года,

27 октября 1835-го, появилась на свет третья дочь Екатерина. За это время его маленькая светская интрижка с Эрнестиной переросла в серьезный роман. Федор Иванович стал отцом большого семейства, но не отказался от своих привычек и меньше всего думал о том, какая незавидная женская судьба неизбежно ожидает его дочерей — не имеющих приданого девушек из высшего общества. Отсутствие состояния обрекало их в будущем либо на безбрачие, либо на мезальянс. «Каждой старой деве полагается быть немножко людоедкой»^{88}. Роль старой девы была незавидна, мезальянс — несовместим с пребыванием в свете. Светский человек не мог не осознавать весь драматизм этой очевидной истины. Для Тютчева светская жизнь всегда была важнейшим условием его существования. Он делал поразительно точные прогнозы о судьбах Европы, но не дал себе труда поразмышлять о настроениях жены и будущем собственных дочерей.

Итак, Элеонора Тютчева только что отняла от груди младшую дочь Екатерину и чувствовала себя не очень здоровой. Такая обыденность, как болезненное состояние жены, не была для Федора Ивановича достаточным основанием для того, чтобы отказать себе в удовольствии пообедать в городе. Он оставил жену дома одну и отправился в город.

Элеонора решила, что муж пошел на свидание с Эрнестиной, и попыталась покончить с собой. Ее неудавшееся самоубийство стало не только семейной драмой, но и публичным скандалом в колонии дипломатов — той самой среде, которая меньше всего склонна прощать такие вещи. Для любого члена дипломатического корпуса подобного рода история закончилась бы неминуемой отставкой и неизбежным крахом карьеры. Поразительно, но наш герой вышел сухим из воды. В день неудавшегося самоубийства Элеоноры посланник князь Григорий Гагарин поспешил написать министру иностранных дел графу Карлу Нессельроде личное письмо, которое, воспользовавшись верной оказией, отправил из Мюнхена в Петербург с первым секретарем миссии бароном Александром Крюденером.

«...Умоляю вас, граф, уделите самое благосклонное внимание всему, что он будет говорить вам о г-не Тютчеве, о его злополучии, о его отчаянном положении и о самой настоятельной необходимости его из этого положения вывести. При способностях весьма замечательных, при уме выдающемся и в высшей степени просвещенном, г-н Тютчев не в состоянии ныне исполнять обязанности секретаря миссии по причине того пагубно-ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком. Во имя христианского милосердия умоляю ваше превосходительство извлечь его отсюда, а это может быть сделано лишь

при условии представления ему денежного пособия в 1000 рублей для уплаты долгов: это было бы счастье для него и для меня. Отъезд бар. Крюденера до прибытия его преемника для меня поистине большое несчастье, а потому я решился обратиться к г-ну Татищеву с просьбой прислать мне моего сына Евгения... он воспринял традиции бар. Крюденера и станет моей правой рукой, моей единственной опорой, ибо от г-на Тютчева уже нечего ожидать»^[89].

*

Посланник князь Григорий Гагарин знал, как следует поступать в подобных обстоятельствах. Он на собственном опыте изведal, во что обходится любовь дипломатам. В молодые годы князь подавал блестящие надежды: в 28 лет был пожалован чином статского советника и в октябре 1811 года стал статс-секретарем Государственного совета. В это время князь Гагарин работал непосредственно с государем Александром I, и даже придворные дамы знали, что официальный министр иностранных дел канцлер граф Николай Петрович Румянцев «занимал свою должность только для виду»^[90]. Князь мог стать естественным преемником министра. Отечественная война 1812 года положила конец блистательной карьере. Гагарин сформировал на свой счет целый полк, однако уклонился от чести быть при особе императора во время боевых действий, и именно граф Нессельроде занял его место при государе. Александр I покинул Петербург и отправился к армии — князь Гагарин под предлогом болезни остался в столице. Взаимная страсть связала его с Марией Антоновной Нарышкиной, официальной любовницей императора Александра I, матерью его дочери Софьи. Об этом стало известно царю. Князь был вынужден покинуть службу: вышел в отставку и отправился «для поправления здоровья» за границу. Хотя через несколько лет он и смог вернуться на дипломатическое поприще, однако в итоге сделал весьма заурядную карьеру.

Тяжелобольной посланник, которому оставалось жить менее года, сделал всё возможное для того, чтобы его подчиненный был выведен из-под удара и не поплатился отставкой^[13]. 18 июля 1836 года баронесса Эрнестина фон Дёрнберг покинула Мюнхен, вклеив на память о дне разлуки с возлюбленным засушенный цветок в свой альбом-гербарий. Федор Иванович был вынужден вспомнить о своих служебных обязанностях и в течение почти двух месяцев «на время отсутствия

посланника исправлял с успехом должность поверенного в делах», за что и был поощрен. 18 июля 1836 года Тютчеву «в вознаграждение ревностной службы» была выдана в уплату долгов тысяча голландских червонцев, и тогда же он был пожалован чином надворного советника со старшинством с 31 декабря 1835 года, то есть со дня получения придворного звания камергера. В июле 1836 года Тютчев провел две недели в Вене, а осенью посланник отчитался за его курьерскую дачу в 680 гульденов для поездки в столицу Австрийской империи и обратно^{91}.

Жизнь постепенно налаживалась, однако оставаться далее в Мюнхене ни он, ни Элеонора более не могли. Они понимали, что в этом городе у них нет будущего. Роман камергера Тютчева и баронессы Эрнестины фон Дёрнберг не был тайной для современников. О нем знали как в Мюнхене, так и в Петербурге. Приехавший в столицу племянник посланника и младший сослуживец Федора Ивановича по дипломатической миссии в Баварии, князь Иван Сергеевич Гагарин не только передал тютчевские стихи в «Современник», но и дал друзьям поэта необходимые биографические комментарии. 17 декабря 1836 года Александр Иванович Тургенев, сам безнадежно влюбленный в Эрнестину, зафиксировал в дневнике очередную сплетню: «Князь Гагарин сказал мне о вдовушке с брюшком от Тютчева»^{92}.

Вице-канцлер граф Нессельроде оставил дипломата на службе, но не внял просьбе князя Гагарина и не извлек Тютчева из Мюнхена. Найти подходящую вакансию было не так-то просто. Для этого требовалось время. Тогда младший секретарь стал хлопотать об отпуске, чтобы провести с семьей зиму в Москве, и получил разрешение покинуть свой пост сроком на четыре месяца. В Россию он намеревался отправить Элеонору с детьми одну, а сам хотел в очередной раз получить курьерскую дачу и навестить в Варшаве брата Николая. На сей раз разлука с мужем и тяготы предстоящего путешествия менее всего беспокоили эту хрупкую женщину. Ее откровенное письмо, адресованное матери Федора Ивановича, не нуждается в комментариях и как нельзя лучше характеризует нашего героя.

«Я предпочитаю путешествовать с тремя грудными младенцами, нежели с одним Теодором. Таковы наши планы. Самое большое затруднение — это, как всегда, деньги. Я экономлю целый год всеми возможными средствами, чтобы отложить необходимую сумму... <...>

<...> ...клянусь вам, любезная маменька, Теодору крайне необходимо прервать то существование, которое он здесь ведет, — и если для себя я

этого хочу, то для него я этого требую, — в полной перемене обстановки я вижу единственный для нас шанс на спасение. Если б вы видели, любезная маменька, каким он стал за год, — подавленный, удрученный, больной, опутанный множеством неприятных и тягостных для него отношений, освободиться от которых он неспособен в силу уж не знаю какого душевного бессилия, — если бы вы видели его, вы убедились бы так же как и я, что вывезти его отсюда — волею или неволею — значит спасти ему жизнь. <...> Простите, что я докучаю вам своими жалобами, но я погружена в заботы, а при том состоянии, в котором находится Теодор, я не смею даже заговорить с ним об этом и тем более не могу надеяться на его совет или поддержку»^[93].

Умиравший посланник попросил Федора Ивановича отложить свой отъезд и задержаться в Мюнхене до весны. Тютчев любезно согласился и остался с угасающим князем Гагариным, которому не суждено было дожить до весны. Младший секретарь занялся делами дипломатической миссии, хотя прекрасно осознавал бесперспективность своего пребывания в Баварии. «Мой удел при этой миссии довольно странный. Мне суждено было пережить здесь всех и не унаследовать никому» — к такому неутешительному выводу пришел Федор Иванович в письме родителям. Впрочем, он не отказал себе в удовольствии отпустить остроту по поводу собственных неудач. «Вице-канцлер пишет мне любезные письма и неоднократно самым благосклонным образом высказывался на мой счет. Стало быть, если он ничего не делает для меня, на это есть причины. Может быть, он полагает, что привязанность, столь искренняя, как та, которую он ко мне питает, не нуждается во внешних проявлениях»^[94]. Прошло более полутора лет, прежде чем Федор Иванович дождался этих внешних проявлений...

*

Посланник скончался в конце февраля 1837 года. В мае семейство Тютчевых покинуло Мюнхен и выехало в Россию. 3 августа надворный советник Тютчев получил назначение в Турин — старшим секретарем при миссии в Сардинском королевстве, и уже через четыре дня один, без семьи, в качестве дипломатического курьера поспешно убыл из Петербурга и через Берлин и Мюнхен неторопливо направился к новому месту службы. Причина подобного служебного рвения была проста и звалась «курьерской

дачей». В столице Баварии он задержался на целый месяц. Неспешность курьера Тютчева на пути в Турин позволила ему добраться до столицы Сардинского королевства с максимальным комфортом и одновременно ощутимо сократить путевые издержки: из трехсот пожалованных ему дукатов он израсходовал всего сто для того, чтобы доехать от Петербурга до Мюнхена. Элеонора с детьми должна была отправиться в Турин осенью. Заботливый супруг привел целый ряд доводов и убедил Нелли остаться зимовать в Петербурге: утомительное путешествие может плохо сказаться на ее здоровье, ослабленный болезнью организм нуждается в продолжительном отдыхе, необходимо время, чтобы истребовать от министерства средства для решения бытовых проблем. Следствием этих вполне разумных доводов стало то, что Федор Иванович возложил попечение о жене и детях на своих престарелых родителей. Даже став старшим секретарем дипломатической миссии, он по-прежнему не мог обойтись без ежегодного родительского пенсионера в шесть тысяч рублей. Об этом он довольно прозрачно намекнул в своем письме.

«Вот уже около месяца как я в Турине, и этого времени было достаточно для составления мнения о нем, вероятно, окончательного. Как место службы, словом, как средство к существованию — Турин несомненно один из лучших служебных постов. Во-первых, что касается дел, то их нет. <...> Жалованье, не будучи значительным, все же составляет 8000 р., что же касается цен, то они таковы, что, обладая этой суммой в двойном размере, семья может кое-как просуществовать. Сверх того я имею надежду с будущей осени остаться поверенным в делах в течение целого года. Это положительная сторона дела. Но, как местопребывание, можно считать, что Турин — один из самых унылых и угрюмых городов, сотворенных Богом. Никакого общества. Дипломатический корпус малочислен, не объединен и, вопреки всем его усилиям, совершенно отчужден от местных жителей. Поэтому мало кто из дипломатических чиновников не почитает себя здесь в изгнании, — например, Обрезков, который — после пятилетнего пребывания здесь и несмотря на превосходные обеды, которые он дает, на три бала в неделю во время сезона, и на свою хорошенькую жену, — не смог привлечь достаточно народу, чтобы составить себе партию в вист. Так же обстоит дело со всеми его коллегами. Одним словом, в отношении общества и общительности, Турин совершенная противоположность Мюнхену. Но, повторяю, это, может статься, самый удобный способ заработать 8000 р. в год»^[95].

Этот довольно подробный отчет страдает одним существенным, но извинительным изъяном. В нем ничего не сказано о связи с Эрнестиной. В

декабре 1837 года любовники встретились в Генуе. Встретились, чтобы, как им казалось, расстаться навсегда. Прощание оказалось долгим. «Впрочем, генуэзское *прости* в туринский период жизни Тютчева не было последним. За генуэзским последовало женевское *прости*»^[96]. В марте 1838 года Федор Иванович и его возлюбленная вновь встретились в Женеве. В альбоме-гербарии Эрнестины сохранилась веточка из сада Вольтера в Фернее, недалеко от Женевы, сорванная 12 марта. Из Женевы Тютчев и Эрнестина уехали вместе. Федор Иванович проводил ее до баварского города Линдау. Здесь они простились. На сей раз разлука должна была стать окончательной: летом в Турин приезжала Элеонора с детьми...

Ее морское путешествие из Петербурга в Любек в мае 1838 года едва не закончилось трагически: в ночь на 19 мая, когда пароход «Николай 1» уже подходил к Любеку, на судне начался пожар. Нелли проявила удивительное самообладание, сохранившее жизнь ей и детям. Сгорел пароход, а с ним и багаж Тютчевых: «мы потеряли всё»^[97]. Было от чего прийти в отчаяние. По личному распоряжению императора Элеоноре незамедлительно было выдано пособие в 200 золотых луидоров, а уже через два месяца после катастрофы в качестве дополнительного возмещения понесенных убытков Тютчев получил из Государственного казначейства еще 800 червонцев^[98]. Но никто не мог вернуть здоровье его жене. Оно было окончательно подорвано, и 28 августа/9 сентября 1838 года Элеонора, вследствие простуды и пережитого нервного потрясения, скончалась. Тютчев провел подле гроба жены целую ночь и в несколько часов поседел от горя. Элеонору похоронили на кладбище в предместье Турина. На мраморной плите с именем усопшей были выбиты слова: «Она не придет более ко мне, но я иду к ней»^[99]. Уход безутешного супруга в лучший из миров был отложен: узнав о горе возлюбленного, к нему незамедлительно приехала Эрнестина.

*

Наш герой был окружен всеобщим вниманием. Все жалели вдовца и, прекрасно понимая его беспомощность, готовы были сделать для него всё возможное и невозможное. Старший брат Николай решил разделить его горе: узнав о смерти Элеоноры, он подал прошение об отпуске и приехал к Федору Ивановичу. Престарелые родители Тютчева были готовы взять на себя заботу о внуках, оставшихся без матери. Они прекрасно понимали,

что девочек нельзя оставить на попечении отца. В конечном счете было принято решение, что незамужняя сестра покойной и ее тетка возьмут племянниц к себе. У них девочки прожили первый год после смерти матери. В то время, когда родственники были озабочены дальнейшей судьбой детей, сам Федор Иванович надеялся поместить дочерей в Смольный институт, о чем и намекнул в личном письме министру иностранных дел графу Нессельроде:

«Что до меня... Граф, как ни горестно, как ни постыдно такое признание... я ни на что не способен, я сам ничто. Испытание не было соразмерно с моими силами... Я чувствую себя раздавленным... Я могу проливать слезы над этими несчастными детьми, но не могу их оберегать.

Но есть Бог и государь... Этому двойному покровительству поручаю я их... Пусть тот, кто несколько месяцев тому назад, после кораблекрушения, поддержал своей помощью мать и детей, теперь, что она их покинула, не отнимет своей десницы от этих трех осиротелых головок»^{100}.

Горе не помешало Федору Ивановичу добросовестно исполнять свои обязанности дипломата. Посланник Обрезков уже вручил королю Сардинии отзывные грамоты, и на Тютчева было возложено исполнение должности поверенного в делах. Он почитал свое пребывание в Турине изгнанием, но его новый дипломатический ранг предоставлял возможность заявить о себе и своих способностях.

И он сполна воспользовался этой возможностью: за сравнительно короткий срок написал и отправил руководству министерства ряд депеш, записок, служебных и частных писем^{101}. Некогда князь Горчаков, приняв назначение на крайне незначительный дипломатический пост, открывающий, однако, простор для самостоятельной деятельности, сказал одному из своих друзей: «Это не важно, но значит поставить ногу в стремя»^{102}. Став поверенным в делах при Сардинском дворе, Тютчев поставил ногу в стремя. Именно ему надлежало — до прибытия нового посланника и вручения последним верительных грамот — представлять в Турине особу министра иностранных дел Российской империи; посланник же представлял особу самого государя. Таков был дипломатический протокол.

В это время по Европе путешествовал великий князь Александр Николаевич. Узнав, что цесаревич прибыл в курортный итальянский город Комо, расположенный в соседнем Ломбардо-Венецианском королевстве, надворный советник и камергер высочайшего двора Тютчев присоединился к свите наследника российского престола. Великого князя сопровождал его

воспитатель — поэт Василий Андреевич Жуковский, которому Федор Иванович был представлен еще в раннем детстве. Это представление состоялось, по прихотливой игре судьбы, в день рождения наследника. В феврале 1839 года Жуковский писал тетке поэта Надежде Николаевне Шереметевой: «Я прежде знал его ребенком, а теперь полюбил созревшим человеком... <...> Он человек необыкновенно гениальный и весьма добродушный, мне по сердцу»^[103].^[14] Так впервые была озвучена мысль о гениальной одаренности Тютчева — и Жуковский способствовал его сближению со своим августейшим воспитанником. Личное знакомство с будущим императором Александром II стало для Федора Ивановича судьбоносным: великий князь «во время пребывания в Комо его очень полюбил»^[104], «был чрезвычайно к нему благосклонен и был так добр, что обещал свою протекцию в случае, если она понадобится»^[105]. Министр иностранных дел, всегда чутко реагирующий на показания придворного барометра, мгновенно изменил отношение к своему подчиненному и посулил ему хорошее место в обозримом будущем. Чрезмерная склонность поэта к сердечным привязанностям помешала графу Карлу Васильевичу выполнить обещание.

Сопровождая великого князя во время его путешествия по Апеннинскому полуострову, камергер Тютчев в декабре 1838 года прибыл в Геную, где сначала встретился с братом Николаем, а через несколько дней — с Эрнестиной, приехавшей к нему из Парижа. Когда дипломат вернулся в Турин, она последовала за ним. С этого момента Федор Иванович и его возлюбленная уже не расставались.

Вскоре, 1/13 марта 1839 года, надворный советник Тютчев, действуя в рамках существовавшей тогда традиции, обратился к вице-канцлеру графу Нессельроде с просьбой разрешить вступить в новый брак. Не входя в подробные объяснения и адресуясь к «снисходительной доброте», великодушию и благосклонности министра, Федор Иванович одновременно попросил графа Карла Васильевича об отпуске на несколько месяцев. Он писал как светский человек, а не как чиновник и позволил себе в официальном письме сослаться на устное разрешение, еще зимой переданное ему светской знакомой (граф-де не имеет ничего против временной отлучки Тютчева с занимаемого поста). Между тем граф Нессельроде своим письмом от 17/22 апреля 1839 года, дав подчиненному разрешение на брак, отказал ему в отпуске. У министра были свои резоны: старший советник временно исполнял должность поверенного в делах, и нельзя было позволить, чтобы до прибытия нового посланника

дипломатическая миссия оставалась без официальных лиц. Не дожидаясь письменного разрешения, дипломат покинул Турин. Его самовольная отлучка с занимаемого поста была не просто нарушением дисциплины, а серьезным должностным проступком и едва ли не преступлением: есть сведения, что Тютчев взял с собой дипломатические шифры и другие важные служебные документы, которые потерял «в суматохе свадьбы и путешествия»^[15]. Существуют три различные версии того, что произошло.

И. С. Аксаков: «Исправляя, за отсутствием посланника, должность поверенного в делах и видя, что дел собственно не было никаких, наш поэт, в один прекрасный день, имея неотложную надобность съездить на короткий срок в Швейцарию, запер дверь посольства и отлучился из Турина, не испросив себе формального разрешения. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даром. О ней узнали в Петербурге, и ему повелено было оставить службу, причем сняли с него и звание камергера... Тютчев однако не поехал в Россию, переселился опять в знакомый, почти родной ему Мюнхен, в ожидании пока в Петербурге разъяснится недоразумение и примирятся с оригинальною выходкою дипломата-поэта»^{106}.

А. О. Смирнова-Россет: «Он был первым секретарем в Турине, посланник попросил отпуск на шесть недель, за это время у Тютчева умирает жена. Мсье оставляет архивы у фабриканта сыра и отправляется разъезжать от потрясения, чтобы найти вторую жену. Находит ее в Швейцарии и женится. Не получая известий из Турина, встревоженный Нессельроде велит написать начальнику канцелярии. Тот отвечает, что первый секретарь уехал, не доверив ему архивы. Вы хорошо понимаете, что нет возможности держать в министерстве подобного человека»^{107} ^[16].

Г. В. Чагин: «Что же касается внезапной отлучки Тютчева из Турина, когда он якобы запер дверь и уехал, не получив на то формального разрешения, — этого просто не было. Это был миф, придуманный, скорее всего, им самим и подхваченный потом его биографами. На самом деле все обстояло гораздо прозаичнее и деликатнее: поэт, узнав, что Эрнестина беременна, естественно, не мог оставить ее в таком положении на пересуды окружающих. Вот почему он с мая везде сопровождал ее, — до службы ли было влюбленному поэту? Когда же он прознал, что продолжительный отпуск для него в будущем не столь реален и, кроме того, против него и в миссии, и в Петербурге начались какие-то козни, то служба для него и вовсе потеряла всякий интерес. Вот почему в дальнейшем он, в общем, спокойно отнесся к своей отставке и переселился в столь знакомый ему Мюнхен»^[17].

Итак, существуют три версии. Первая версия изложена в посмертной биографии поэта и принадлежит его зятю, благоговевшему перед памятью Федора Ивановича. Вторая версия восходит к устному рассказу графини Нессельроде, супруги министра и известной мастерицы школы злословия. Ее рассказ дошел до нас благодаря воспоминаниям светской дамы, которая «шутки злости самой черной / Писала прямо набело»^[108]. Эта версия великолепно доносит до нас интонацию светских сплетен. Александра Осиповна Смирнова прекрасно относилась к Тютчеву и ценила его как остроумного собеседника. Канцлерша Нессельроде оказывала ему покровительство. Но ни та ни другая не могли отказать себе в удовольствии позлословить насчет своего хорошего светского знакомого, обществом которого они дорожили. Третья версия принадлежит известному знатоку жизни и творчества поэта и отражает точку зрения современного исследователя, дающего оценку событиям более чем полуторавековой давности.

Само наличие этих версий и отсутствие однозначного рационального объяснения свидетельствуют о неординарности сложившейся в Турине ситуации. На минуту забудем о том, что Тютчев — гениальный поэт. Посмотрим на дело трезвым взором. Дипломатический чиновник высокого ранга самовольно покидает свой весьма значительный пост, в суматохе теряет служебные документы особой важности (напомню, речь идет о дипломатических шифрах) — и за это подсудное дело фактически не несет никакого наказания. Надворного советника Тютчева могли отдать под суд, лишить чинов и дворянства с последующей ссылкой в Сибирь. По меньшей мере его должны были, пользуясь формулой тех лет, выключить из службы, то есть уволить в отставку с соответствующей записью в формуляре, исключающей повторное поступление на государственную службу. Посмотрим, как на самом деле развивались события.

Первого октября 1839 года Тютчев якобы «по его желанию» отзывается от должности старшего секретаря русской миссии в Турине. Чиновнику всего лишь мягко намекают на неуместность его поведения, ведь он до сих пор не вернулся в Турин! Об отставке пока нет ни слова: надворный советник остается в ведомстве Министерства иностранных дел. Лишь 6/18 октября сам Тютчев подает графу Нессельроде формальное прошение об отставке с должности старшего секретаря императорской миссии в Турине. Он хочет остаться на государственной службе и просит у министра разрешения отложить свой приезд в Россию до весны, мотивируя эту просьбу тяготами зимнего переезда для своих малолетних детей. Просьбу удовлетворяют. 8 ноября Тютчева увольняют с должности

старшего секретаря, но оставляют до нового назначения в ведомстве Министерства иностранных дел. 10 ноября ему предоставляют отпуск сроком на четыре месяца, «с позволением оставаться в чужих краях»^{109}. Более того, 22 декабря 1839 года провинившегося чиновника производят в коллежские советники «с двумя годами старшинства»^{{110},[18]} в новом чине. Статский чин коллежского советника соответствовал воинскому чину полковника — это был VI класс Табели о рангах, и его обладатель мог претендовать на весьма значительный пост, а старшинство в чине делало подобные претензии обоснованными.

Почему же дело было положено под сукно? Некогда Тютчев написал своему шефу: «...Я всегда буду помнить, граф, что чиновник, имеющий честь служить под вашим начальством, был бы виновен более всякого другого, если бы в своем поведении не сумел бы соблюсти умеренности, приличия и сдержанности»^{111}. Однако в многомесячной отлучке Тютчева трудно усмотреть наличие «умеренности, приличия и сдержанности». Почему же министр иностранных дел не стал наказывать своего подчиненного? Почему столь вопиющий проступок не стал предметом служебного расследования, а сам факт самовольной и длительной отлучки чиновника со своего поста не был отражен в его формулярном списке? Никаких документов, отвечающих на этот вопрос, не сохранилось. Можно лишь предполагать, что Тютчева спасло заступничество влиятельного покровителя, с мнением которого вынужден был считаться даже граф Нессельроде. Таким покровителем мог быть только один человек — наследник престола. Лишь его вмешательством можно объяснить явное поправление закона: виновный не был наказан и даже со старшинством получил новый чин.

*

Интересно, что сам Федор Иванович нисколько не чувствовал собственной вины и не считал свою карьеру завершённой. Написав министру о желании сложить с себя должность в Турине, он не терял надежды получить более значительный пост, о чем и написал родителям: «...если только мне не предложат какого-либо поста положительно выгодного, какого-либо необычайного повышения — что мало вероятно — если, повторяю, не будет подобной счастливой случайности, я твердо решил оставить дипломатическое поприще и окончательно обосноваться

в России»^{112}. Он полагал, что имеет право ставить министру условия. Иногда его посещали озарения, и тогда он понимал, что жаждет получить должность, которой просто нет в природе: он примерял не себя к существующим должностям, а должности — к себе. Такой ход мысли извинителен поэту, но не чиновнику. Узнав, что министр собирается приехать летом на Богемские воды, Тютчев решил отложить свой отъезд в Россию, дабы встретиться с графом в приватной обстановке и доверительно поговорить о своих делах. (Мысль о том, что он просрочит свой отпуск, ему просто не пришла в голову.)

«Ибо все эти сильные мира более доступны и более покладисты за границей, нежели у себя дома. Поэтому, как только я узнаю, что он в Карлсбаде, я к нему отправлюсь. Я еще не знаю в точности, о чем я буду его просить, но я буду просить... Должность секретаря при миссии для меня не подходит. Я ни в коем случае не приму ее. Но еще вопрос, согласятся ли они назначить меня советником посольства или, за неимением подобного поста, дать мне более или менее подходящее место в департаменте... Недавно я получил значок за пятнадцать лет службы. Это довольно жалкое вознаграждение за пятнадцать лет жизни — и каких лет! — Но уж раз мне суждено было их пережить — примиримся с жизнью и со значком — каковы бы они ни были»^{113}.

Значок, о котором упоминает Федор Иванович, — это знак отличия беспорочной службы за 15 лет нахождения в классных чинах. Он представлял собой «серебряную позолоченную квадратную сквозную пряжку с изображением на ней дубового венка и числа лет службы (римской цифрой)»^{114}. Чиновники носили эту пряжку на груди с владимирской лентой. Именно такой знак отличия с цифрой XV хорошо заметен на лацкане форменного мундира персонажа картины П. А. Федотова «Свежий кавалер». Об этом же знаке написал Н. В. Гоголь в повести «Шинель», когда говорил о незадавшейся карьере вечного титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина: «...выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу»^{115}.

Именно такую пряжку, свидетельствующую о вполне заурядной и ординарной карьере, и получил Тютчев. Не вдаваясь в подробные рассуждения о том, можно ли было счесть его службу *беспорочной*, следует, однако, отметить, что сам Федор Иванович был не вполне, как говорится, адекватен, когда сетовал, что начальство не удостоило его более весомой награды. Не за что было удостаивать. Он начал свою карьеру с того, что

благодаря влиятельному родственнику был сверх штата причислен к заграничной дипломатической миссии. Там он не утруждал себя особым рвением: долгие годы переписывал чужие депеши и развозил их по Западной Европе. Его жалованье было невысоким, но жизнь - исключительно комфортной. Он не предпринимал никаких усилий, чтобы отличаться. Более того, ухитрялся манкировать даже своими необременительными служебными обязанностями. Апогеем его безответственности стал самовольный отъезд из Турина. Его службу можно было назвать беспорочной лишь в насмешку. Однако наш герой, столь известный в свете своим остроумием, в данном случае не был склонен к самоиронии.

Впрочем, не будем к нему слишком строги. Он жил по законам среды, к которой принадлежал. Действие этих законов распространялось на немногих избранных счастливых. Тютчев и люди его круга искренне были убеждены в том, что правительство, если оно требует от них службы, но не может обеспечить их достойным для жизни в свете денежным содержанием, просто обязано награждать их чинами и орденами, не требуя взамен даже элементарного соблюдения дисциплины. Люди этого круга прекрасно ощущали, что между ними и каким-нибудь Ахакием Ахакиевичем Башмачкиным — *дистанции огромного размера*. Вспомним, что в это время и в этой среде существовало два рода дисциплины или субординации: официальная, о которой было написано в уставе, и более существенная — неофициальная и неписаная. Однако различие между этими двумя видами дисциплины было впервые сформулировано лишь три десятилетия спустя, в романе Толстого «Война и мир».

«Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решил служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика»^{116}.

И Борис Друбецкой, и Федор Тютчев служили по этой неписаной субординации. Они были людьми света и жили по весьма удобному и

приятным для них законам светского общества. И в этом отношении они равны. Но они не тождественны: Тютчев — гениальный поэт, и мы не можем судить его всего лишь как заурядного светского человека. Гений — всегда вне юрисдикции такого суда.

*

Тютчев обвенчался с Эрнестиной 17/29 июля в швейцарском городе Берне, в православной церкви при русской дипломатической миссии. После этого молодожены отправились в Великое герцогство Баденское, где в городе Констанце 29 июля/10 августа заключили брак и по католическому обряду. Последнее обстоятельство сделало их союз нерасторжимым: православная церковь допускала развод в исключительных обстоятельствах, католическая — в принципе отрицала развод.

В конце сентября 1839 года супруги поселились в Мюнхене и тотчас взяли к себе дочерей Федора Ивановича от первого брака — и две недели спустя дети так привязались к Эрнестине, «как будто у них никогда не было другой матери»^[117]. Напомню, что в это время Тютчев формально всё еще продолжал числиться старшим секретарем миссии в Сардинском королевстве. Именно это обстоятельство и побудило его 27 января/8 февраля 1840 года простодушно донести в Петербург о недополученном им жалованье за последние пять месяцев его службы в Турине: с 1 мая по 29 сентября минувшего года, то есть по день вручения новым посланником Кокошкиным своих верительных грамот королю Сардинскому. Тютчев просил о выплате недополученных денег за время службы в Турине в качестве поверенного в делах (речь шла о значительной сумме, ибо жалованье поверенного в делах ощутимо превосходило жалованье старшего секретаря). О том, что он давно уже не исполнял своих прямых обязанностей, чиновник дипломатично умолчал.

Министерство иностранных дел сделало официальный запрос, и 12 марта 1840 года Туринская миссия выдала справку, что «коллежский советник Тютчев выехал из Турина 25 июня 1839 г. и отправился через Швейцарию в Мюнхен, откуда более к своему посту не возвращался»^[118].^[19] Согласно этой справке ему и были выплачены деньги в размере 457 рублей 20 копеек серебром, то есть только за два неполных месяца: с 1 мая по 25 июня, а не по 29 сентября. Самовольная отлучка оплате не подлежала. С 1 октября 1839 года, как мы помним, Тютчев был освобожден

от обязанностей старшего секретаря миссии. Формально он продолжал числиться на государственной службе, но с этого момента жалование ему уже не полагалось — и Тютчевы жили на счет Эрнестины. «Сверх того, — признавался Федор Иванович родным, — тотчас после нашей свадьбы она уплатила за меня *двадцать тысяч* рублей долгу»^{119}.

Двадцать третьего февраля/6 марта 1840 года у них родилась дочь Мария. Рождение ребенка заставило супругов отложить свой отъезд в Россию. Коллежского советника Тютчева нисколько не беспокоило, что его четырехмесячный отпуск излишне затянулся. И он не считал нужным формально урегулировать свои взаимоотношения с министерством и получить разрешение на продление отпуска.

Осенью 1840 года в курортном местечке Тегерн-зее, под Мюнхеном, поэт был представлен великой княгине Марии Николаевне, любимой дочери императора Николая I. Достоверно известно, что великая княгиня была восхищена поэзией Тютчева и не осталась безучастной к самому Федору Ивановичу. Между ними установились исключительно доверительные отношения. Не вдаваясь в подробные рассуждения об этом деликатном предмете (один из исследователей даже был склонен предполагать, что у них был роман^{120}), следует заметить, что и спустя годы Федор Иванович считал для себя возможным, обращаясь с личной просьбой к Марии Николаевне, писать к ней не как к царственной особе, а как к женщине. В октябре 1840 года Тютчев посвятил великой княгине стихотворение, в котором были такие строки:

Живым сочувствием привета
С недостижимой высоты,
О, не смущай, молю, поэта!
Не искушай его мечты!
О, как в нем сердце пламенеет!
Как он восторжен, умилен!
Пушай любить он не умеет —
Боготворить умеет он!^{121}

Стоит ли удивляться тому обстоятельству, что великая княгиня благожелательно отнеслась к поэту и пообещала ему свое покровительство: «...позже мне стало известно, что даже в Петербурге она с большой благосклонностью отзывалась обо мне»^{122}. Благосклонность любимой

дочери царя дорогого стоила, вот почему камергер Тютчев по-прежнему был беспечен в своих служебных делах.

Прошел еще год — и терпение графа Карла Васильевича иссякло. 14/26 июня 1841 года у Тютчевых родился сын Дмитрий, а 30 июня граф Нессельроде распорядился: за долговременным неприбытием из отпуска, данного ему на четыре месяца в 1839 году, Тютчева, «местопребывание коего в министерстве неизвестно», более в ведомстве Министерства иностранных дел не считать. Чиновник просрочил свой отпуск на пятнадцать месяцев! 4/16 августа русский посланник в Мюнхене Северин донес графу Нессельроде, что Тютчеву сообщено об его отставке, и «о глубоком чувстве горечи, с каким он встретил объявленный ему приговор». На сей раз Федор Иванович решил покаяться и написать министру личное письмо. В деле сохранилась отметка графа Борха, сделанная на полях донесения посланника: «Подлинное письмо г-на Тютчева находится у вице-канцлера»^{123}.

Это письмо исследователям до сих пор не удалось найти, однако только глубочайшим раскаянием чиновника можно объяснить тот факт, что коллежский советник Тютчев и на сей раз не был выключен со службы, а был прикомандирован к Департаменту разных податей и сборов^{124}. Его послужной список вновь не был замаран. Большого для чиновника было сделать просто невозможно. Формально он даже сохранил за собой придворное звание, по поводу чего не преминул отпустить остроту в письме жене, благо был уверен в том, что оно не подвергнется перлюстрации.

«А знаешь, я теперь имею счастливую возможность подарить тебе все золотое шитье с моих двух придворных мундиров? Дело в том, как мне объяснил Северин, что, покинув службу, я сохранил право и звание камергера, но лишился мундира. Итак, я остался без золотого шитья и вместо той великолепной оболочки, в которую был облечен до сих пор, вынужден теперь довольствоваться простым мундиром, как тот, который ты видела прошлой зимой на князе Голицыне. Эта метаморфоза даст мне возможность воздержаться от появления на свадебных торжествах, хотя бы с единственной целью избежать вопросов, которые неминуемо вызовет эта перемена костюма»^{125}.

Впрочем, на его успехах в свете это никак не сказалось: в сентябре 1841 года в Веймаре он был представлен великой герцогине Саксен-Веймарской. Великая герцогиня Мария Павловна была дочерью императора Павла I и сестрой двух российских государей. «Она соизволила

оказать мне самый милостивый прием. В течение моего восьмидневного пребывания здесь я три раза обедал у нее и один раз провел вечер»^{126}. В итоге его старшая дочь, двенадцатилетняя Анна, была удачно пристроена при Веймарском дворе. Великая герцогиня видела девочку каждую неделю и была «очень благосклонна к ней»^{127}. Так было положено начало придворной карьеры Анны.

Камергер Тютчев лишился своего «великолепного золотого панциря» и в течение трех лет жил в Мюнхене в качестве частного человека, искусно избегая вопросов, связанных не только с переменной костюма, но и с изменением своего социального статуса. Действительно, объяснить причину, по которой он лишился дипломатического поста, было довольно мудрено. Александр Иванович Тургенев, до которого дошли толки о причинах отставки поэта, 10 июля 1842 года сделал в дневнике краткую запись: «О Тютчеве: умен, но беспечен, отставлен за оставление Минхена»^{128}. Место действия перепутано: Турин ошибочно назван Мюнхеном, но суть дела передана точно.

Даже Эрнестину начала беспокоить тютчевская беспечность, она понимала, что надо положить конец затянувшейся неопределенности. Госпожа Тютчева стала побуждать мужа к возвращению на родину. Федор Иванович стал основательно готовиться к переезду в Петербург. На сей раз он учел всё и продумал свое предстоящее возвращение до мельчайших подробностей. Это был настоящий военный план наступательной операции. Тютчев тщательно спланировал время и место нанесения главного удара, проявив при этом не свойственную для него предусмотрительность.

Осенью 1842 года он уже собирался сесть на пароход, чтобы всего лишь через шесть дней причалить в Кронштадте, однако узнал, что предстоящей зимой в столице не будет ни великой княгини Марии Николаевны, ни баронессы Крюденер, — и резко изменил свои планы. Он понимал, что без поддержки этих дам ему в Петербурге делать нечего. Возвращение в Россию было отложено почти на год. Федор Иванович не очень охотно возвращался на родину. Его преследовали грустные мысли. «Ведь я предвижу, что как в Москве, так и в Петербурге мне придется испытать множество тяжелых впечатлений, недоразумений, противоречий... и только путем спокойствия и благоразумия я могу надеяться все это преодолеть, хотя бы лишь отчасти...»^{129}

Эрнестине с трудом верилось в его спокойствие и благоразумие. Действительно, его положение было противоречиво. Формально

коллежский советник Тютчев был уволен из Министерства иностранных дел, однако он своевременно не озаботился тем, чтобы получить на руки аттестат о своей предшествующей службе, а без этого документа нельзя было вновь вернуться на государственную службу. Возникал вопрос о будущей должности. Дипломат мечтал о месте советника посольства. Его чин и положение в свете позволяли ему претендовать на это. Такая должность была настоящей синекурой. Советник посольства получал очень хорошее жалованье, был заметной фигурой в дипломатическом корпусе и... практически не нес никакой персональной ответственности. Наш герой идеально соответствовал этой должности, а она — ему Проблема была в ином. В то время русские посольства были только в трех европейских столицах: Лондоне, Вене и Париже. Вот почему желаемую должность было «труднее найти, чем получить»^{130}. Свободных вакансий не было.

Восьмого июля 1843 года Тютчев с братом Николаем, но без семьи, прибыл в Москву, где не был 18 лет. Сладостные минуты встречи с родителями и друзьями были омрачены грустными мыслями об отсутствии служебных перспектив. «Дело в том, что того, что могло бы мне подходить в служебном отношении, я не вправе просить, а все остальное лишь мешало бы мне и не улучшило бы моего положения. С другой стороны, жить здесь, в ожидании чего-то, угодного судьбе, было бы так же бессмысленно, как серьезно рассчитывать на выигрыш в лотерею. При том у меня нет ни средств, ни, главное, охоты увековечиваться здесь в ожидании этого чуда. Итак, я решил не извлекать из моего путешествия в Петербург иной выгоды, кроме попытки упорядочить мою отставку, и потом, тотчас же, я буду просить о заграничном паспорте. Но дело в том, что даже для осуществления этой программы, как бы скромна она ни была, у меня нет под рукою необходимых для этого посредников»^{131}.

Посредников действительно не было. Зато были посредницы. И Тютчев не преминул воспользоваться их услугами. Он нанес визит любимой дочери царя и был благосклонно принят: «Намедни я посетил в прелестном загородном дворце великую княгиню Марию Николаевну, которая всё еще сильно горюет о смерти ребенка, но по-прежнему безукоризненно добра и любезна со мной»^{132}. Однако не дочь государя, а ее ближайшая соседка по имению помогла Федору Ивановичу вернуть утраченные позиции. В Петербурге коллежский советник упорядочил свою отставку и незамедлительно получил на руки аттестат о своей предшествующей службе. Устойчивые позиции в свете помогли обойтись без неизбежных в таком деле формальностей. Департаментом

хозяйственных и счетных дел Министерства иностранных дел был выдан официальный документ, который свидетельствовал, что «коллежский советник Тютчев при похвальном поведении поручаемое ему исправлял с усердием, в штрафах и под судом не был, аттестовался способным и повышения чином достойным»^{133}. Ни самовольной отлучки, ни потери шифра не было...

С таким аттестатом можно было попытаться изменить судьбу. Однако для этого требовалось время, а жизнь в Петербурге была дорогой — и Тютчев решил вернуться в Мюнхен. «Видел еще — да кого только я не видел! Все это сонмище знакомцев разного времени и разных чинов оказало мне отменный прием. Но, чтобы добиться тут чего-нибудь посущественнее проявлений вежливости, надо было бы прожить не три недели, но год, а то и все два. Это, однако, жертва, на которую обречь себя я не имею ни возможности, ни желания»^{134}, — писал он жене.

Казалось, что ему удастся избежать подобного жертвоприношения. Нам же, чтобы избежать излишних вопросов, связанных с переменой судьбы отставного дипломата, необходимо вернуться к событиям далекого прошлого, к тому времени, когда кандидат Московского университета был сверх штата прикомандирован к дипломатической миссии в Баварии. В Мюнхене он увлекся юной красавицей Амалией, внебрачной дочерью баварского дипломата графа Максимилиана Лерхенфельда и княгини Терезы Турн-унд-Таксис. Княгиня была кузиной великой княгини Александры Федоровны, чей муж в скором времени вззошел на престол под именем Николая I. Но ни Теодор, ни Амалия в ту пору еще не думали об этом. Они часто встречались и однажды даже обменялись часовыми шейными цепочками: Теодор «вместо своей золотой получил в обмен только шелковую»^{135}.

Прошло несколько лет. К Амалии посватался первый секретарь русской дипломатической миссии в Баварии барон Александр фон Крюденер и получил согласие. Барон был старше своей избранницы на 22 года. Разница в возрасте не смутила ни жениха, ни невесту. И только сверхштатный дипломат Тютчев позволил себе нескромно острить по этому поводу. Теодору грозила дуэль с бароном, но, к счастью, поединка удалось избежать. Посланник Воронцов-Дашков счел за благо отправить своего подчиненного в продолжительный отпуск. Тютчев подчинился силе вещей и не стал бороться за сердце Амалии, но ухитрился сохранить с «младой феей» превосходные отношения, в чем никогда впоследствии не раскаивался.

Именно Амалия Крюденер привезла в Россию и передала князю Ивану Гагарину объемистый пакет с сотней тютчевских стихотворений, часть из которых была опубликована Пушкиным в «Современнике». Прошло несколько лет, и дружеское расположение баронессы Крюденер помогло поэту вновь вернуться на службу.

Император Николай I был увлечен баронессой и открыто за ней ухаживал. Царь подарил ей прекрасное имение рядом с Петербургом: оно располагалось по Петергофской дороге и примыкало к даче, принадлежавшей великой княгине Марии Николаевне. Соседки по имениям подружились и часто виделись. Федор Иванович возбуждал интерес и привлекал внимание этих незаурядных женщин. Затем место императора при баронессе занял всесильный шеф жандармов граф Бенкендорф. «Я уступил после свое место другому»^{136}, — заметил по этому поводу государь. Граф Александр Христофорович, хотя и стоял у двери гроба, в Амалии души не чаял и совершал всё новые и новые траты. Генерал издавна был известен своими амурными похождениями, однако ни к одной из предшествующих любовниц «страсть его не доходила до такого исступления»^{137}, как любовь к баронессе Крюденер. «Эта непонятная связь одной из прелестнейших женщин в Петербурге с полумертвым стариком была поводом к многоразличным комментариям в нашей публике»^{138}. Придворные язвили по поводу непомерной жадности баронессы к деньгам. В их злословии была изрядная доля зависти.

Шеф голубых мундиров, одно имя которого уже внушало страх, должен был выглядеть весьма забавно в роли влюбленного старика. Великая княжна Ольга Николаевна вспоминала о событиях 1837 года: «Деловые качества Бенкендорфа страдали от влияния, которое оказывала на него Амели Крюденер, кузина Мама... Как во всех запоздалых увлечениях, было и в этом много трагического. Она пользовалась им холодно, расчетливо: распоряжалась его особой, его деньгами, его связями где и как только ей это казалось выгодным, — а он и не замечал этого. Странная женщина! Под добродушной внешностью прелестной, часто забавной натурой скрывалась хитрость высшей степени»^{139}.

Однако в многолетних отношениях Амалии и Тютчева не было ни холода, ни расчета. Баронесса Крюденер помогла незадачливому дипломату, и когда Федор Иванович прибыл в Петербург, он незамедлительно был принят графом Александром Христофоровичем и получил любезное приглашение погостить в его роскошном имении Фалль, под Ревелем, вместе с Крюденерами. «Он с такою любезной

настойчивостью приглашал меня сопутствовать им, что отклонить его предложение было бы невежливо»^{140}. Федор Иванович уже собирался покидать Петербург, однако внес изменения в свои планы и счел возможным погостить в замке Бенкендорфа. Следует подчеркнуть, что никаких нравственных колебаний по этому поводу поэт не испытывал. Будем историчны и не станем забывать, что его отношение к главноуправляющему Третьим отделением качественно отличалось от отношения либерально настроенного советского писателя к председателю КГБ. Граф не был для него одиозной фигурой. Через него Тютчев предложил правительству свои услуги идеолога и политического публициста, который бы за рубежами Российской империи отстаивал ее геополитические интересы.

«Мое пребывание у графа Бенкендорфа продолжалось пять дней и было очень приятно. Кроме того, что самая местность считалась бы красивой даже в самых живописных странах, я очень рад, что познакомился ближе с ее обладателем, который отличный человек. Это, конечно, одна из лучших натур, которые я когда-либо встречал. Бенкендорф, как ты, может быть, знаешь, один из самых влиятельных, самых высоко стоящих в государстве людей, пользующийся по самому свойству своей должности неограниченной властью, почти такой же неограниченной, по крайней мере, как власть его повелителя. Я это знал, и это, конечно, не могло меня расположить в его пользу. Тем более мне отрадно было убедиться в том, что это также вполне добрый и честный человек. Он был необыкновенно любезен со мной, главным образом из-за М-те Крюденер и отчасти из личной симпатии, но я ему не столько благодарен за его прием, сколько за то, что он довел мой образ мыслей до сведения Государя, который отнесся к ним внимательнее, чем я смел надеяться. Что же касается общественного мнения, то я мог убедиться по сочувствию, которое мой образ мыслей в нем нашел, что я был прав, так что теперь, благодаря данному мне безмолвному разрешению, можно будет попытаться начать нечто серьезное.

Но все это становится уже похожим на политическую болтовню и повторения, которые ты так справедливо презираешь и от которых я пока тебя согласен избавить»^{141}.

Итак, с 15 по 19 сентября 1843 года Тютчев гостил у влиятельного сановника, которого молва справедливо считала вторым человеком в империи. Граф Александр Христофорович был с ним откровенен: поделился своими воспоминаниями о незабвенной эпохе 1812 года и

рассказал о том, как русская армия восприняла пожар Москвы. Зашла речь и о модной книжной новинке — запрещенной в России книге маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году».

Французский роялист, дед и отец которого были казнены во время Великой французской революции, Кюстин воспользовался приглашением императора Николая I и приехал в Россию, чтобы на практике убедиться в преимуществах самодержавной формы правления перед республиканской. Российская действительность быстро излечила пытливого француза от этой иллюзии, о чем он и поведал всему цивилизованному миру в своей книге, сразу же ставшей бестселлером. «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ правления. Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы»^[142].

Гостеприимный хозяин замка Фаль признался Тютчеву, что он без утайки сказал государю: «Господин Кюстин только сформулировал те понятия, которые все давно о нас имеют и которые мы сами о себе имеем»^[143]. Федор Иванович фразу запомнил и спустя несколько недель повторил ее своему берлинскому знакомому, благодаря дневнику которого она и дошла до нас. И Бенкендорф, и Тютчев, на словах признавая несомненные достоинства книги маркиза, считали необходимым оспаривать горькие истины этой книги в печати. Эта мысль прозвучала и в предназначенной для императора записке. Отставной дипломат составил докладную записку, которая через шефа жандармов была передана Николаю I, а ее автор получил разрешение продолжить свое пребывание за границей и благополучно вернулся к семье в Мюнхен.

Это было несомненной милостью, ибо в царствование Николая I подданных Российской империи крайне неохотно выпускали за границу. Вспомним, что Федор Иванович накануне серьезно проштрафился и своевременно не вернулся из заграничного отпуска. Вот почему выдача Тютчеву нового заграничного паспорта была бы невозможна без санкции Третьего отделения. Отставной коллежский советник Тютчев через посредство генерала от кавалерии Бенкендорфа предложил правительству

начать «партизанскую войну в тылах европейской печати»^[144].

Естественно, что координатором проекта должен был стать сам автор идеи. Ее практическая реализация означала бы безусловное возвращение автора на государственную службу и мгновенное обретение им видного служебного положения. Тютчев получил бы самостоятельный пост, вполне соизмеримый по своей значимости с местом посланника в столице крупной европейской державы. При этом Федор Иванович не был бы связан обязательствами постоянно находиться в каком-то одном определенном городе, но, подобно настоящему партизану, получил бы свободу для оперативного и тактического маневра. Эта идея должна была импонировать графу, который во время Отечественной войны 1812 года командовал авангардом самого первого по времени формирования армейского партизанского отряда. Он пообещал Тютчеву свою поддержку, но это обещание было сугубо приватным. По достигнутой с Бенкендорфом договоренности, у Федора Ивановича в запасе был целый год, для того чтобы подготовить почву для практической реализации своих идей, изложенных в записке. (Столь долгий срок объяснялся еще и тем, что здоровье Александра Христофоровича было подорвано, и он нуждался в продолжительном лечении за границей.) Федор Иванович продолжал находиться в отставке и действовал на свой страх и риск. Никаких средств ему ассигновано не было.

Сама записка до нас не дошла, хотя специалисты и смогли реконструировать ее содержание. Дело было не в высказанных там идеях. Дело было в том, что благодаря графу Бенкендорфу наш герой успешно реализовал заветную мечту гоголевского героя. Как известно, Петр Иванович Бобчинский очень хотел, чтобы о его существовании узнал сам государь. В Российской империи сам факт близости к особе самодержца всегда оценивался более высоко, чем самая высокая награда, и человек, попавший в поле зрения царя, уже почитал себя счастливым. До сведения императора Николая Павловича было доведено, что есть такой коллежский советник Тютчев, который почтет «за великое счастье сложить к стопам Императора все, что может дать и обещать человек: чистоту намерений и усердие абсолютной преданности»^[145]. Усердие было оценено. От выдачи денег пока воздержались.

Родители продолжали помогать младшему сыну. Отец Федора Ивановича уже достиг весьма почтенных лет и решил две трети всего своего состояния отдать сыновьям, одновременно возложив на них бремя управления имениями. Естественно, что это бремя легло исключительно на плечи старшего сына Николая. Младший же сын был настолько увлечен своими грандиозными политическими проектами, что требовать от него исполнения помещичьих обязанностей никому не приходило в голову.

Итак, Тютчеву благодаря родительской щедрости предстояло получать по 10—12 тысяч рублей в год. Кроме того, при его отъезде из Москвы родители дали ему еще три тысячи рублей. Надо было как-то компенсировать многолетнее отсутствие государева жалованья. Однако расходы большой семьи ощутимо превышали эти денежные поступления. Неизбежный дефицит постоянно покрывался Эрнестиной из собственных средств. В итоге несколько лет такой жизни серьезно расстроили ее солидное состояние. Эрнестина понимала, что необходимо положить предел затянувшемуся ничегонеделанию мужа и что только его возвращение на службу может поправить их материальное положение и обеспечить будущее детей.

Окончательное возвращение Тютчевых в Россию должно было совпасть по времени с приездом в Петербург графа Бенкендорфа, поправлявшего свое расстроенное здоровье на зарубежных курортах. Попытка Федора Ивановича практически осуществить свои планы и найти публицистов, готовых к сотрудничеству с ним, не увенчалась успехом. 11 октября 1843 года состоялся его секретный разговор с Якобом-Филиппом Фалльмерайером, мюнхенским эллинистом и востоковедом. Ученый был известен своими оригинальными научными идеями и яркими публицистическими статьями. Тютчев, от имени шефа жандармов, предложил Фалльмерайеру сотрудничество — и встретил вежливый отказ^{146}. Обращаться к услугам продажных журналистов Тютчев сознательно не захотел. Причина понятна. В то время уже были журналисты, готовые торговать своими перьями, и это не считалось зазорным, особенно когда речь шла о борьбе конкурирующих политических партий. Но регулярное написание заказных политических статей в интересах иностранных держав — до этого журналистика еще не доросла.

Впрочем, это печальное обстоятельство не помешало Тютчеву в течение года регулярно информировать вице-канцлера графа Нессельроде: «Мы были в постоянных сношениях и... некоторые мои письма,

относящиеся до вопросов дня, были представлены и ему и государю»^{147}. Временами отставной коллежский советник охладевал к своей заветной идее и уже не хотел возвращения на родину, и тогда задело бралась Эрнестина. «Путешествие в Россию по-прежнему предмет наших задушевных разговоров и даже супружеских ссор. Тютчев не хочет этого путешествия, я же чувствую, что оно безусловно необходимо, и намерена его осуществить»^{148}. Ей это удалось.

Осенью 1844 года, 20 сентября/2 октября Тютчевы прибыли в Кронштадт^{149}.^[20] Ранним утром следующего дня корабль вошел в Петербургский порт, и лишь после полудня пассажирам разрешили сойти на берег. Тютчевы остановились в дорогой гостинице Кулона, находившейся на Михайловской площади. Эрнестина Федоровна хотела провести зиму в Москве у родителей мужа и предполагала, что их разорительное пребывание в Петербурге не займет много времени и «ограничится пределами строгой необходимости»^{150}. Действительность внесла свои коррективы. 23 сентября на борту военного корабля, подходившего к Ревелю, скончался граф Бенкендорф. Я склонен предположить, что если бы эта смерть произошла двумя месяцами ранее, Тютчевы навсегда остались бы за фаницей. Впрочем, это всего лишь гипотеза. Приходилось всё начинать сначала. Прежде всего следовало добиться приема у графа Нессельроде. Томительное ожидание продолжалось несколько недель и не было абсолютно безрадостным. «Мы все еще ждем, когда ф. Нессельроде примет Тютчева... <...> В ожидании этого события мы весьма приятно проводим время в Петербурге; нас окружают люди тонкие и чувствительные, а простая и непринужденная манера обращения, принятая в здешнем обществе, совсем не похожа на чопорность мюнхенских гостиных. Два раза в неделю у нас места в Итальянскую оперу, а во Французском театре мы бываем, когда захотим. Словом, к нам все очень расположены, и я сожалела бы о необходимости покинуть этот город, если бы мне не обещали столь же любезный и ласковый прием в Москве»^{151}.

Так прошел еще месяц. Поездку в Москву пришлось отложить. Деньги таяли. Тютчевым пришлось покинуть дорогую гостиницу Кулона и переехать в очень маленькую меблированную квартиру, но на Английской набережной.

Наконец министр иностранных дел соизволил принять отставного дипломата. Беседа продолжалась четверть часа. Коллежскому советнику было предложено вернуться на службу в Министерство иностранных дел

— он согласился. Устную договоренность с графом Карлом Васильевичем надлежало закрепить официально. Неспешный ход деловых бумаг должен был завершить разговор с министром, узаконив возвращение чиновника на службу. От идеи провести зиму в Москве в обществе стариков Тютчевых пришлось отказаться.

«Прием, оказанный Тютчеву графом Нессельроде, поддерживает в нас надежду, и было бы глупо, проделав такое путешествие, выйти из игры, когда она только начинается»^{152}. Действительно, казалось, что все только начинается для этого стареющего мужчины, которому уже пошел пятый десяток. Его называли львом (само это слово только что вошло в употребление): успех Федора Ивановича в светском обществе превзошел самые смелые ожидания. Князь Петр Андреевич Вяземский представил его супруге вице-канцлера. Федор Иванович очаровал графиню Марию Дмитриевну — и она отнеслась к нему «чрезвычайно ласково и любезно»^{153}. Сам поэт так рассказал о их первой встрече: «Я встретился с ней у князя Вяземского. Мы были вчетвером, оба Вяземские, она и я, и разошлись только в три часа утра. Через день она пригласила меня к себе. Мне оказан был самый ласковый прием. Это весьма умная женщина и отменно любезная с теми, кто ей нравится. Опускаю подробности, ибо в письме они походили бы на сплетни»^{154}. Быть принятым графиней означало получить доступ в весь высший круг столицы. Благосклонность графини Марии Дмитриевны распространилась и на супругу поэта, о чем она с гордостью поведала брату: «Я виделась с 2-жой Нессельроде, которая была со мной весьма любезна; она чрезвычайно полюбила Тютчева, и я должна вам сказать, что у себя на родине он пользуется громадным успехом»^{155}.

Воспоминания графа Владимира Александровича Соллогуба, светского знакомого Тютчевых, объясняют нам причины этого успеха. «...Я назвал только что Федора Ивановича Тютчева; он был одним из усерднейших посетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких

женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева; я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания “*coulaient de source*”, как говорят французы; в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного. Соперник его по салонным успехам, князь Вяземский, хотя обладал редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался ум Тютчева»^{156}.

За разговорами незаметно прошла зима, во время которой Федор Иванович был, по словам его соперника по салонным успехам, настоящим «львом сезона»^{157}. Князь Петр Андреевич не поленился сохранить для потомства несколько его острот, относящихся к осени 1844 года. «Тютчев говорит, что по возвращении его из-за границы более всего поражает его: отсутствие России в России. “За границей всякий серьезный спор, политические дебаты и вопросы о будущем неминуемо приводят к вопросу о России. О ней говорят беспрестанно, ее видят всюду. Приехав в Россию, вы ее больше не видите. Она совершенно исчезает с горизонта”»^{158}.

Однако Тютчев занимался не только салонными разговорами. Он подготовил докладную записку на французском языке для императора, в которой повел речь о взаимоотношениях России и Запада в связи с политикой Российской империи на Востоке. Сам выбор языка документа свидетельствовал о независимости автора, ибо Николай I требовал, чтобы к нему обращались только по-русски. Впрочем, французский язык был официальным языком дипломатии, а у нашего героя была, как он сам признавался, «глупая непривычка писать по-русски»^{159}. Ловко нанизывая одну французскую фразу на другую, сменяя одну метафору другой, Тютчев предрекал царю неизбежность его предстоящего превращения в главу всего православного Востока. Перечитаем наиболее интересные места этого меморандума.

*

«Что же касается до России, то, если даже мы умолчим о снесенных нами оскорблениях, об истории наших несчастий в семнадцатом столетии, как сможем мы не сказать ни слова о политике папского престола в

отношении народов, связанных с Россией братством племени и языка, но по воле рока от нее отделенных? Ничем не погрешая против истины, можно сказать, что если прочим странам латинская церковь несла гибель своими злоупотреблениями и излишествами, то славянским племенам она была заклятым врагом по сути своего бытия. Само немецкое завоевание было не более чем орудием, покорным мечом в ее руках. Направлял и готовил удары Рим. Всюду, где Рим ступал на землю славянских народов, он объявлял войну не на жизнь, а на смерть их национальному духу. Он либо уничтожал, либо искажал его.

В самом деле, что ни предпринимай, куда ни подайся, если только Россия останется тем, что она есть, российский император необходимо и неодолимо пребудет единственным законным владыкой православного Востока, осуществляющим, впрочем, свое владычество в той форме, в какой ему угодно. Делайте, что хотите, но, повторяю еще раз, до тех пор, пока вы не уничтожите Россию, вам не отменить этой власти.

Кому не ясно, что Запад, со всею своею философией, со своим мнимым уважением к правам наций и протестами против ненасытного честолюбия России, рассматривает народы, населяющие турецкую империю, единственно как добычу, которую необходимо поделить.

Вот вопрос, которого западная наука, несмотря на все ее притязания на непогрешимость, никогда не могла разрешить. Восточная империя всегда оставалась для нее загадкой; она могла оклеветать ее, но никогда не умела понять. Она обходилась с Восточной империей так, как в своем недавнем сочинении обошелся с Россией господин де Кюстин, взглянувший на нее сквозь призму ненависти, помноженной на невежество.

Не должно пугаться всех этих исторических рассуждений, какими бы рискованными ни казались они на первый взгляд. Вспомним, что эти мнимые отвличенности суть мы сами, наше прошедшее, наше настоящее, наше будущее. Враги наши хорошо это знают, постараемся не отстать от них. Враги знают, понимают, что все те страны, все те народы, которые им желательно было бы подчинить западному господству, связаны с Россией историческими узами, подобно тому как отдельные члены связаны с тем же живым организмом, частями которого являются, — оттого-то и стремятся враги ослабить, разорвать, если возможно, эту органическую связь.

Повторим еще раз и будем повторять неустанно: Восточная Церковь есть Православная Империя; Восточная Церковь есть законная наследница Церкви Всемирной, православная империя, единая в своих основаниях, сплоченная во всех своих частях. Таковы ли мы? такими ли хотим быть? В этом ли праве нам отказывают?

До сего дня, признаем это, в тех редких случаях, когда мы поднимали голос, дабы отразить его (Запада. — С. Э.) нападения, мы за крайне редкими исключениями избирали тон, весьма мало нам подобающий. Мы слишком походили на школяров, пытающихся неуклюжими восхвалениями умиловить прогневавшегося наставника.

Когда мы лучше узнаем, кто мы такие, мы перестанем публично каяться в этом перед кем бы то ни было.

И не стоит воображать, будто, громко оглашая свои грамоты, мы еще сильнее распалим против себя иностранцев. Думать так — значит вовсе не понимать, чем ныне заняты умы в Европе.

Повторим еще раз: если Запад враждебен к нам, если он глядит на нас недобро, причина заключается в том, что, признавая и даже преувеличивая, быть может, нашу материальную силу, он чаще всего, как ни абсурдно это звучит, сомневается в том, что могущество наше одушевлено собственной нравственной жизнью, собственной жизнью исторической. Между тем человек, в особенности же человек нашего времени, так создан, что он смиряется с физической мощью лишь тогда, когда различает за нею могущество нравственное.

В самом деле, странная вещь, которая спустя несколько лет покажется необъяснимой. Вот Империя, воплощающая волею обстоятельств, подобных которым, быть может, не сыщешь в мировой истории, разом две громады: судьбы целой расы и прекраснейшую, святейшую половину Христианской Церкви.

И при этом находятся люди, которые всерьез задаются вопросом, где патенты этой Империи на благородство, каково ее законное место в мире!.. Неужели нынешнее поколение так заплуталось в тени горы, что не умеет различить ее вершину?

Здесь я подхожу непосредственно к предмету своей короткой заметки. Я полагаю, что императорское правительство имеет весьма существенные причины не желать, чтобы внутри страны, в местной печати, чересчур живо обсуждались вопросы весьма важные, но весьма деликатные, вопросы, затрагивающие самые корни существования нации; иное дело — заграничная печать; к чему проявлять нам ту же сдержанность? К чему доле щадить враждебное общественное мнение, которое, кичась нашим безмолвием, без всякого стеснения приступает к этим вопросам и разрешает их один за другим, давая ответы, не подлежащие ни проверке, ни обжалованию, ответы, неизменно враждебные по отношению к нам, противные нашим интересам. Разве не обязаны мы, хотя бы ради себя самих, положить конец такому состоянию дел?

...Каким бы беспорядочным, каким бы независимым ни казалось нынешнее европейское общественное мнение, по сути оно алчет лишь одного: чтобы нечто величественное покорило его своей воле. Говорю это со всей решительностью: главное и самое трудное для нас — поверить в собственные силы, дерзнуть признаться самим себе в грандиозности нашего предназначения, дерзнуть вполне принять на себя этот груз. Отыщем же в себе эту веру, эту отвагу. Осмелимся поднять наше истинное знамя над мешаниной мнений, раздирающих Европу, и смелость эта поможет нам отыскать помощников именно там, где до сей поры встречали мы одних лишь врагов. И тогда сбудется славное слово, сказанное при памятных обстоятельствах. Мы увидим, как те, кто до сего дня открыто нападали на Россию или втайне строили ей ковы, почтут за счастье и честь для себя принять ее сторону, повиноваться ей.

Главное заключалось в том, чтобы согласовать наши усилия, чтобы направить их все до единого к определенной цели, чтобы поставить различные мнения и тенденции на службу неизменным интересам России, сохраняя при этом за языком статей прямоту и силу, без коих невозможно потрясать умы.

Нечего и говорить о том, что речь не идет о повседневных мелочных пререканиях с иностранной прессой по поводу частностей, незначительных подробностей; истинно полезным было бы другое: завязать прочные отношения с какой-нибудь из наиболее уважаемых газет Германии, обрести радетелей почтенных, серьезных, заставляющих публику себя слушать и двинуться разными путями, но в некоем сообществе, к определенной цели.

Но при каких условиях можно усвоить этим отдельным и до какой-то степени независимым силам общее и спасительное направление?

При условии, что рядом будет находиться человек умный, наделенный энергическим национальным чувством, глубоко преданный Императору и достаточно сведущий в делах печати и, следовательно, досконально знающий то поприще, на коем ему предстоит действовать.

Что же до расходов, необходимых для организации за границей русской печати, то они будут ничтожны сравнительно с ожидаемым результатом.

Если идея эта будет принята благосклонно, я почту за великое счастье сложить к стопам Императора все, что может дать и обещать человек: чистоту намерений и усердие абсолютной преданности»^{160}.

Усердие было оценено царем в шесть тысяч рублей ассигнациями, пожалованных автору записки. Слишком мало для жизни в столице и слишком много за авторский лист. Так была оценена *идеология*, которую Тютчев предложил императору и самодержцу всероссийскому. В руках Николая I были практически безграничная власть и огромные ресурсы, людские и материальные, но в распоряжении государя не было системы идей и взглядов, в которых бы осознавались и оценивались отношения Российской империи к Западу. Поэт предлагал некое основание для всех будущих теоретических споров с Западом, настаивая на том, что спаянная единством Империя имеет несомненное нравственное преимущество перед кем бы то ни было.

Сейчас, спустя более чем полтора века после описываемых событий, мы прекрасно знаем, что преимущество оказалось иллюзорным. Прошедший XX век нас многому научил, выработав стойкую идиосинкразию к любым проявлениям тоталитаризма. У Федора Ивановича такого опыта не было. Было бы ошибкой оценивать тютчевские идеи по существу, разбирая их политическую, правовую, философскую, нравственную и религиозную обоснованность. Рискну предположить, что взгляды Тютчева прежде всего отличались ярко выраженным эстетизмом: они не были его символом веры, их внешняя форма подавляла содержание и обладала для автора ценностью сама по себе. Это была гирлянда поэтических метафор, притворившихся меморандумом.

Один из современников поэта 6 июля 1842 года, на следующий день после знакомства с Федором Ивановичем, записал в дневнике: Тютчев «имеет дар всеобъемлющего взгляда на вещи и чувствует всё своеобразное, человек тонкий, отзывчивый, любезный». После новой встречи формулируется итоговая характеристика — «превосходный человек самого свободного духа, умеющий охватить всё вокруг»^{161}. Подобные слова в устах последовательного гегельянца, а именно таким был автор дневника, дорогого стоят и многое объясняют. Свободный дух русского поэта легко охватывал как сами отвлеченные геополитические идеи, так и то, что в них должно было понравиться августейшему читателю.

В этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Игра ума обладала для Федора Ивановича самодостаточной ценностью, что подметил граф Шереметев: «А между тем Тютчев, всегдашний поклонник красного словца, готов для него пожертвовать истиной, которая для него не всегда интересна»^{162}. Вот почему один из его мюнхенских друзей даже оспаривал его способность иметь собственные убеждения и склонялся к

мысли о том, что у поэта всегда было одно только «умствование»^{163}. Князь Иван Гагарин подчеркивал: «Когда Тютчев писал газетные или журнальные статьи, он, очевидно, избегал говорить что-нибудь такое, что могло повредить ему в высшем кругу, и развивал преимущественно такие идеи, которые обладали свойством нравиться. Он даже был склонен думать, что все мнения содержат истину и что всякое мнение может быть защищено достаточно убедительными доводами. Предаваясь подобным упражнениям, он не насиловал в себе никаких убеждений»^{164}.

Тютчевский меморандум написан профессиональным дипломатом и составлен так, чтобы власть предержащие остались довольны прочитанным. Автор был далек от мысли преподать урок царям. Как известно, в самом начале своего царствования император Николай I попросил только что освобожденного из ссылки Пушкина составить записку о недостатках частного и общественного воспитания. Это был своеобразный экзамен на лояльность, который великому поэту сдать не удалось. «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. <...> Несмотря на то, мне вымыли голову»^{165}.

Шестнадцатого марта 1845 года коллежский советник Тютчев с высочайшего разрешения вновь был зачислен в штат Министерства иностранных дел, а 14 апреля ему возвратили звание камергера. Это был знак прощения и настоящий пасхальный подарок одновременно: на 15 апреля в этот год приходилось Светлое Христово Воскресение. Следовало заказать новый, шитый золотом придворный мундир, который стоил очень дорого и пробил бы серьезную брешь в семейном бюджете. Жалованья камергеру пока не полагалось, и он решил обойтись без нового придворного мундира. Практичная Эрнестина Федоровна была всецело на стороне мужа. «Я действительно нахожу все это камергерское оснащение слишком дорогим, а Теодор и слышать не хочет о расходе на такой предмет, который доставляет ему столь мало удовольствия»^{166}. Коллежскому советнику следовало дожидаться назначения на штатную должность, после чего он мог рассчитывать на жалованье. Ожидание могло растянуться на несколько месяцев.

Прошло чуть более месяца после возвращения Тютчева на службу, и начальство не сочло возможным отказать чиновнику в очередной просьбе: 20 мая Тютчев, согласно прошению, увольняется в четырехмесячный отпуск и едет с семьей в Москву^{167}.

Накануне отъезда жена дипломата написала брату: «Сегодня утром я подвела итоги нашим расходам за 8 месяцев пребывания здесь — это ужасающая сумма, особенно когда подумаешь как скромно мы жили»^{168}. Жили, подчеркнем это еще раз, в основном на средства Эрнестины Федоровны. Деньги, посылаемые стариками Тютчевыми, шли на обеспечение детей от первого брака.

Хотя на сей раз дипломат вернулся из отпуска вовремя, прошло еще несколько месяцев, прежде чем ему удалось получить штатную должность в центральном аппарате министерства. Эрнестина Федоровна горько жаловалась брату: «Так как мы хотим провести лето в России, есть надежда, что до нашего возвращения на Запад это пресловутое место, которое должно соответствовать интересам правительства, а вместе с тем и нашим собственным интересам, будет найдено. А пока, в ожидании этого события, мы живем на собственные средства, а потому мой пассив, и без того весьма значительный, все увеличивается»^{169}.

Лишь 15 февраля 1846 года Федор Иванович был назначен чиновником особых поручений при государственном канцлере. В 1845 году граф Нессельроде получил этот редчайший чин I класса Табели о рангах, отныне среди простых смертных Петербурга ему не было равных: даже военный министр и министр двора были особами II класса, а равный ему по чину генерал-фельдмаршал Паскевич постоянно проживал в Варшаве. В атмосфере строжайшего чинопочитания, которая была в столице «империи фасадов», новый чин министра иностранных дел давал его обладателю совершенно исключительное положение среди первых лиц государства. Близость к графу Карлу Васильевичу и явное покровительство графини Марии Дмитриевны — «она прониклась горячим интересом к Тютчеву»^{170} — позволили Федору Ивановичу и его жене занять в столице единственное в своем роде положение. «Наше положение в обществе таково, что ни о чем подобном я и мечтать не могла бы...»^{171}

Действительно, еще в конце весны 1845 года супруги Тютчевы на вечере у великой княгини Марии Николаевны были представлены ее матери, императрице Александре Федоровне. Даже мимолетные улыбки августейших особ можно было выгодно конвертировать — и они были беспрепятственно и удачно обменяны на нечто весьма осязаемое и конкретное. Осенью того же года Федору Ивановичу удалось сделать то, о чем мечтали многие знатные родители: его дочери Дарья и Екатерина были определены в Смольный институт благородных девиц — самое привилегированное учебное заведение для девушек. Следует подчеркнуть,

что их обучение Тютчевым ничего не стоило: Китти обучалась в Смольном на счет наследника престола великого князя Александра Николаевича и его супруги цесаревны Марии Александровны, а Дарья стала пенсионеркой великой княгини Марии Николаевны. «Что касается великой княгини Марии Николаевны, то она всё та же, то есть по-прежнему восхитительна»^{172}, — отзывался о ней Тютчев. Любимая дочь государя по-прежнему жаловала некогда воспевшего ее поэта, а он был все так же остроумен, обаятелен и находчив. В конце зимы следующего года настал черед и самого поэта: он получил необременительную должность в министерстве с жалованьем 1500 рублей серебром.

Должность чиновника особых поручений не требовала каждодневного присутствия на службе и не была сопряжена для Федора Ивановича с исполнением каких-либо определенных обязанностей. И лишь одно останавливает от того, чтобы назвать ее синекурой — это жалобы Эрнестины Федоровны на нищенский оклад мужа. Ее реакция объяснима. Вспоминает старшая дочь поэта: «Семья наша... была большая, состояние же незначительное, и моей мачехе, иностранке по происхождению, с трудом удавалось при наших ограниченных средствах удовлетворять требованиям петербургской жизни в той среде, к которой мы принадлежали по связям моего отца, но отнюдь не по положению и не по состоянию»^{173}. 30 мая 1846 года у Тютчевых родился еще один ребенок — сын Иван, после чего расходы семьи вновь возросли, а уже стоило подумать о приданом для быстро взрослеющих дочерей от первого брака. Для жизни в Петербурге 1500 рублей серебром в год было крайне мало, столько стоила наемная квартира в аристократическом районе.

Однако следует заметить, что для Тютчева было сделано все возможное и даже невозможное, ибо среди чиновного люда подобное жалованье имели немногие счастливцы. По получаемому ими должностному окладу лишь губернатор одной из самых крупных губерний, директор департамента министерства или обер-прокурор Сената могли сравниться с Федором Ивановичем. Профессор университета получал всего лишь 1000 рублей ассигнациями в год, а жалованье городничего составляло от 300 до 450 рублей^{174}. Разумеется, никто из них не снимал квартиру на Английской набережной или на Невском проспекте. Все эти категории чиновников справедливо полагали свое жалованье небольшим, но никто из них не рискнул бы назвать его жалким или нищенским, как это делала Эрнестина Федоровна: среди чиновного люда были и такие, кто ухитрялся существовать на 60 или 80 рублей в год, причем далеко не каждый из них

имел возможность получать «безгрешные доходы».

Тютчев лишь номинально исполнял обязанности чиновника особых поручений при государственном канцлере и нетерпеливо ожидал вакансии за границей. Это не мешало ему отпускать остроты на счет графа Карла Васильевича. Записная книжка князя Вяземского сохранила одну из них. «Тютчев говорит, что Нессельроде напоминает ему египетских богов, которые скрывались в овощи: “Чувствуешь, что здесь внутри скрывается бог, но не видно ничего, кроме овоща”»^{175}. Хотя наш герой и сохранил при вторичном поступлении на службу свой прежний чин VI класса, но для карьеры более шести лет жизни были безвозвратно потеряны. Проблема же поиска высокооплачиваемого места оставалась. «Таким образом, мы приняли сложившееся положение вещей не более как нечто временное»^{176}, — подвела итог Эрнестина Федоровна. Уже через месяц эта умная женщина поняла, что ничего хорошего ждать не приходится, — о чем свидетельствует ее письмо брату:

«Я думаю, что у Тютчева мало надежды получить достойное место за границей. Гр. Нессельроде полагает, что сделал для него все, что мог, причислив к своему Министерству с этим нищенским окладом в 6000 франков... <...> Я нимало не сомневаюсь, что общество моего мужа весьма привлекательно, и потому очень многие желают, чтобы его пребывание в Петербурге продлилось как можно дольше, но за эту привлекательность слишком плохо платят, и если нам придется и далее жить здесь на 6000 франков, которые он получает, то, полагаю, года через два я буду полностью разорена. Итак, нам следует отдать себе отчет в том, где же предпочтем прозябать — в каком-нибудь маленьком германском городке или же в Москве? Для будущего наших детей последнее было бы предпочтительнее, и если бы я могла решать, я не колебалась бы в выборе. Но если человек прожил на земле 42 года и если эти 42 года протекли в постоянном ожидании перемен, причем все его склонности и причуды постоянно удовлетворялись, как это было с Тютчевым, — такому человеку, я думаю, весьма трудно принять решение и на чем-то остановиться, в особенности же трудно это сделать, если принятие подобного решения не сулит в будущем абсолютно ничего привлекательного»^{177}.

В итоге Тютчевы окончательно обосновались в России и остались жить в Петербурге. Даже смерть Ивана Николаевича Тютчева, последовавшая в апреле 1846 года, и получение отцовского наследства не изменили существенным образом материальное положение семьи поэта. Родовое имение Овстуг не было разделено между братьями, и они стали

совместными владельцами 700 душ крестьян. Разумеется, что все тяготы по управлению имением продолжал нести старший брат Николай Иванович. (Он восхищался дарованиями младшего брата, к которому был очень привязан. Кроме того, у отставного полковника Генерального штаба перед гениальным поэтом было важное преимущество — «качества практические, порядок и логика в делах»^{178}. Фактически полковник принес свой комфорт в жертву семье младшего брата, но так и не дождался от нее признательности. Последующие десять лет деревенской жизни превратили его в давно уже отвыкшего от чтения и «скучнейшего из людей»^{179}.)

Тютчев жил в Петербурге и внимательно следил за ходом европейских событий. Должность чиновника особых поручений при государственном канцлере позволяла ему получать иностранные газеты без каких-либо ограничений или цензурных изъятий. Даже губернаторы не имели подобной привилегии и нередко получали газеты с купюрами: отдельные статьи густо замазывались черной тушью или просто вырезались ножницами цензора. Лишь единицы из числа генерал-губернаторов имели мужество протестовать против подобного унижения, простые губернаторы — смирялись. А милейшего Федора Ивановича никто не посмел бы так огорчить. Если иностранная почта с газетами опаздывала, он испытывал чувство досады и не считал нужным скрывать от окружающих свое негодование. Поэт жаждал насладиться новыми политическими событиями и был угнетен, если на море устанавливался мертвый штиль. Жена досконально изучила его привычки: «...Я бы хотела ради него, чтобы в мире политики произошло какое-нибудь новое событие, которое могло бы хоть немного занять и оживить его. Вы не можете представить себе, какая вялость, какое уныние владеют им»^{180}.

Тютчев испытывал столь сильную тоску по чужбине, что канцлер счел необходимым предложить своему чиновнику особых поручений послать его курьером в Берлин и Цюрих. Федор Иванович любезно согласился и 21 июня 1847 года выехал из Петербурга вместе с дочерью Анной. «Курьерская дача» позволяла пойти на неизбежные дополнительные расходы и взять с собой взрослую барышню, чью судьбу следовало устроить. Тютчев не собирался путешествовать с Анной по Европе. Он хотел поручить дочь заботам ее тетки Клотильды Мальтиц и надеялся, что Клотильда воспользуется поддержкой великой герцогини Веймарской и поможет Анне в ближайшем будущем получить место фрейлины при Российском дворе. Когда Клотильда не сделала этого, Тютчев на нее очень

сердился и обвинял в эгоизме и равнодушии к племяннице.

Даже Эрнестине Федоровне не был ведом маршрут путешествия мужа, но она надеялась, что Федор Иванович сумеет получить еще одну курьерскую экспедицию — на сей раз из Берлина в Петербург. Новая «курьерская дача» позволила бы оплатить необходимые дорожные расходы и таможенные пошлины и переправить в Петербург карету, оставленную Эрнестиной Федоровной при отъезде из Германии. Услуги извозчиков были разорительны. «В этом случае мы сможем сделать так, что будущей зимой у нас будет собственный экипаж. <...> Но один Бог знает, как это все устроится; деловые качества моего мужа не вызывают у меня доверия, и я полагаю, что он отступит перед первым же из тех затруднений, которые, несомненно, встретятся на пути к осуществлению моего плана»^{181}.

Как это ни покажется странным, на сей раз Тютчев оказался на высоте и благодаря советам старшего брата Николая переправил карету в Петербург с минимальными издержками: не стал отправлять ее по железной дороге, а обратился к услугам торгового флота, что было в три раза дешевле. Впрочем, наш герой никогда не стал бы вникать в подобные тонкости, если бы не его брат. Побывав в Берлине и Цюрихе и посетив добрый десяток прелестных европейских городов, курьер Тютчев благополучно вернулся в Петербург.

*

И лишь спустя полвека выяснилось, что во время этой курьерской поездки Федор Иванович познакомился и завязал роман с некой Гортензией Лапп. Подробностей этой продолжительной связи мы не знаем. Известно лишь, что иностранка приехала с Тютчевым в Россию и впоследствии родила ему двоих сыновей. Один из них, Николай Лапп-Михайлов, погиб в 1877 году в бою под Шипкой, а второй, полковой врач Дмитрий Лапп, умер через несколько месяцев после гибели брата и был погребен в Одессе. Поэт скончался в 1873 году и завещал госпоже Лапп ту пенсию, которая по закону полагалась его вдове Эрнестине Федоровне. Вдова и дети свято выполнили последнюю волю мужа и отца, и в течение двадцати лет, вплоть до смерти Эрнестины Федоровны, Гортензия Лапп получала пенсию, которую уступила ей вдова чиновника. Вот и всё, что мы знаем об этой любовной истории^{182}.

Месяц бежал за месяцем, год шел за годом, политический штиль сменялся штормом (в Европе вспыхивали и затухали революции), а продолжавший жить в Петербурге Федор Иванович с его безукоризненным французским языком каждый вечер блистал в столичных гостиных, очаровывая дам и поражая собеседников своими остротами и точностью и глубиной политических прогнозов. Очевидец вспоминал, что «появление Тютчева в гостиной всегда вызывало в обществе приятное волнение»^{183}. Его остроты пользовались успехом и передавались из уст в уста, не выходя, впрочем, за пределы узкого круга петербургской аристократии. Сам государь Николай Павлович, когда рассказывал о своих любовных похождениях, предпочитал пользоваться удачным термином, который придумал Федор Иванович: мимолетные увлечения и непродолжительные связи с доступными дамами царь называл «des bluettes» — «васильковыми дурачествами»^{184}. Именно Тютчева изобразил Толстой в образе дипломата Билибина в романе «Война и мир»:

«И канцлер и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами; он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос “зачем?”, а вопрос “как?”. В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно; но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение — в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно-остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина, как будто нарочно портативного свойства, для того чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, *les mots de Bilibine se colportaient dans les salons*

de Vienne <отзывы Билибина расходились по венским гостиным>, как говорили, и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, желтоватое лицо его было все покрыто крупными морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови спускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные, небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело»^[185].

В этом портрете есть только одна, но существенная неточность: Тютчев умел, но, в отличие от Билибина, никогда не любил работать и сам признавал свою «чудовищную лень»^[186]. Именно лень и сыграла с ним злую шутку.

В аристократическом Петербурге никто не умел говорить так хорошо, как Федор Иванович, и не было никого, кто был бы так умен. Его изумительная проницательность восхищала окружающих, удивленных «поразительной меткостью его предсказаний»^[187]. Его уму было присуще свойство «охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии»^[188]. Революции в Европе 1848-1849 годов, стремительный бег событий и крушение политической системы, остававшейся незыблемой на протяжении трех десятилетий, — все это ошутимо усилило потребность не только властей, но и общества в глубоком анализе постоянно меняющейся ситуации. Нужны были долгосрочные прогнозы — и Тютчев откликнулся на вызов времени.

Под непосредственным впечатлением от революционных событий в Западной Европе он на французском языке продиктовал Эрнестине Федоровне текст записки, которая впоследствии получила название «Россия и Революция». Ее публикация за пределами России произвела сенсацию и принесла автору европейскую известность. Записка диктовалась быстро, буквально на одном дыхании, — и 12 апреля 1848 года работа была завершена. Тютчев понимал, что ему довелось наблюдать конец важнейшего этапа европейской и мировой истории. Доселе даже очень прозорливые мыслители смотрели на ход истории исключительно с точки зрения Запада, который, хотя и признавал материальные силы России, решительно отказывал ей в праве влиять на мировые процессы. Тютчев оспорил это положение и взглянул на ситуацию с другой стороны. Российская империя — это неотъемлемая часть единого органического целого, и европейский Запад составляет лишь половину этого великого

целого. Отныне с европоцентризмом должно быть покончено.

Федор Иванович был энциклопедически образованным человеком и понимал, что ход истории можно попытаться объяснить сменой доктрин или принципов — именно так объясняли его представители немецкой идеалистической философии. Но он осознавал ограниченность подобных воззрений, ибо знал, что в истории есть еще и противоположные интересы, — и уже появились мыслители, объясняющие все исторические события, исходя из борьбы различных материальных интересов. Однако и этот взгляд на вещи не позволял дать исчерпывающее объяснение происходящим революциям, которые в тот момент еще не были завершены.

Тютчев взглянул на ситуацию в ее незавершенности, абстрагировался от вещей и обстоятельств не очень существенных и осознал важнейшее противоречие своего времени. Он предельно упростил уравнение со множеством неизвестных и сделал смелый вывод: «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — Революция и Россия». Революция не может стать объединяющим началом, а старый европейский мир показал свою неспособность “создать что-либо такое, что могло бы быть принято европейским обществом как законная власть”»^[189]. Такую власть может предложить лишь Россия. Не исключено, что противостояние революционной Европы и консервативной России может закончиться тем, что Российская империя обуздает революцию и создаст «Великую Греко-Российскую Восточную Державу», столицей которой станет древний Царьград. Один из исследователей увидел в этом выводе просто утопию, другой — историософское мифотворчество поэта^[190].

Для Тютчева все сферы жизни общества были пронизаны политикой: политика охватывала всё и относилась ко всему. Однако заключение, к которому пришел дипломат Тютчев, не имело непосредственного отношения к практическим нуждам российской внешней политики. Это была своеобразная игра ума мыслителя, идеологию которого один из его оппонентов очень точно назвал «политическим пантеизмом»^[191]. Более того, это был абстрактный вывод философа, пожелавшего стать политическим мыслителем, осознавшего важнейшую историческую альтернативу своей эпохи и постигшего тот практически недостижимый предел, к которому всегда будет стремиться императорская Россия в ее неизбежном противостоянии революционному Западу.

«Мой муж полагает, что пора, наконец, и друзьям, и недругам нашим понять ту очевидную истину, что Россия защищает прежде всего не собственные интересы, а принцип власти, который она представляет всегда

и повсюду, — объясняла Эрнестина взгляды Тютчева, — и что принцип этот столь неотъемлем от ее сущности, что она, если так можно выразиться, обречена всегда и повсюду поддерживать и защищать всякую законную власть — до тех пор, по крайней мере, пока эта защита и поддержка будет возможна. Но несомненно также и то, если эта власть окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана, во имя того же принципа, взять власть в свои руки, дабы не уступить ее Революции. Всякий беспристрастный ум поймет, что именно в этом и заключается разгадка всей русской истории за последние 150 лет»^{192}.

Федор Иванович не остановился перед крайними выводами. Он предсказал неизбежность войны России с Западной Европой и предположил, что будущее чревато распадом Австрийской империи. Россия поглотит ее славянские земли и осуществит соединение двух церквей — православной и католической. Эту мысль Тютчев сформулировал в другой своей записке, «Папство и Римский вопрос». В истории Европы настанет новая эра: «...православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора»^{193}. Такова итоговая тютчевская формула. Федор Иванович предполагал подробно обосновать ее в трактате «Россия и Запад», работа над которым велась в 1848—1849 годах. «Россия и Революция» и «Папство и Римский вопрос» мыслились автором как отдельные главы этого большого труда^{194}.

Изменение в служебном положении нашего героя предоставило ему удобный случай заняться этим обширным замыслом. 1 февраля 1848 года Тютчев был назначен чиновником особых поручений V класса и старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел. Новое назначение позволяло надеяться на скорое получение очередного чина, и действительно уже 5 мая он его получил и стал статским советником^{195}. Должность старшего цензора давала возможность беспрепятственно — по долгу службы — знакомиться с любыми западноевропейскими книжными новинками, не исключая и тех, что были запрещены в России. У Федора Ивановича появился уникальный шанс быть одновременно востребованным как властями, так и думающей частью европейского общества. Он мог бы составить себе общеевропейскую известность в качестве политического писателя. Именно к такому выводу пришел причастный к миру журналистики барон Карл фон Пфедфель, родной брат Эрнестины Федоровны. Дело было за малым. Следовало просто приложить

немного усилий и дать себе труд изложить на бумаге собственные мысли, но Тютчеву был физически неприятен сам факт писания, — и он не воспользовался своим даром.

Предоставим слово Эрнестине Федоровне: «Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, — кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки — это поток, который течет легко и свободно. Но если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете человека, который был бы менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром. Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам ни с чем не сравнимы. Его здоровье, его нервозность, быть может, порождают это постоянное состояние подавленности, из-за которого ему так трудно делать то, что другой делает, подчиняясь требованиям жизни и совершенно незаметно для себя. Это светский человек, оригинальный и обаятельный, но надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как это делает он, то есть как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры...»^{196} Это был приговор, который вынесла любящая женщина. «Чаровник», «Любимый», «Любимчик» — так Эрнестина Федоровна именovala мужа в письмах, однако эмоции не сказались на ее способности трезво его оценивать.

Жена Федора Ивановича не просто привыкла к России, она полюбила эту страну. Ей очень нравилась деревенская жизнь в Овстуге, и она готова была навсегда переселиться в это имение и встретить там старость. Но Федор Иванович и слышать не хотел об этом. С одной стороны, он был безразличен к судьбе родового имения и у него совершенно отсутствовала «шишка собственности», с другой — просто физически не мог «существовать без газет, без новостей и впечатлений!»^{197}. Каждое лето Эрнестина Федоровна проводила несколько месяцев в деревне, а затем возвращалась «к ярму петербургской жизни»^{198}. В 1849 году это возвращение было омрачено неожиданной утратой: за границей скончалась графиня Нессельроде. Федор Иванович потерял женщину, с которой его связывали на редкость приятные отношения: в течение нескольких лет он был украшением салона графини Марии Дмитриевны и пользовался ее неизменной поддержкой. Тютчев принадлежал к чрезвычайно узкому кругу избранных друзей хозяйки первого по своей значимости великосветского

салона столицы. Для этих немногих графиня была, по словам лицейского товарища Пушкина и очень крупного чиновника барона Модеста Андреевича Корфа, «везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба — я испытал это на себе многие годы — неизменно заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия»^{199}. Смерть супруги государственного канцлера глубоко поразила Тютчевых. Федора Ивановича едва не хватил удар. Через две недели после погребения Эрнестина Федоровна написала брату: «...и вот отныне мой муж поистине стал сиротой в Петербурге. Вообще теперь наше пребывание во многом потеряло свою привлекательность из-за смерти или отсутствия многих из тех, кто составлял наш узкий дружеский круг»^{200}.

Прошла молодость, и светская жизнь превратилась для Эрнестины Федоровны в непосильную тяжесть, которая усиливала раздражение от того, что «Любимчик» органически связан с ежедневным пребыванием в свете. Интересы супругов пришли в столкновение.

Конфликт вызревал медленно и подспудно. Сначала Эрнестина Федоровна, которой приходилось думать о будущем шестерых детей, лишь подтрунивала над отсутствием деловой хватки у мужа: «Если бы вы только знали, какие огромные возможности умножить свое состояние кроются в этой стране для здравомыслящего человека, обладающего некоторым деловым чутьем. Мы же ничего не делаем, мы только тратим, потому что мой муж, давая прекрасные советы другим, не может придумать ничего такого, что было бы выгодно для его собственной семьи. Он похож на знаменитых врачей, которых приглашают для консультации в безнадежных случаях, благодаря точности их диагнозов, но лечить хронические заболевания им скучно, а потому, несмотря на все свои знания, они не могут разобраться даже в подагре. Семья для него — заболевание хроническое и неизлечимое, — таким образом, в отношении нас он не в счет»^{201}. Это было написано весной 1850 года. А уже осенью в письме Эрнестины Федоровны появились новые нотки: она сообщила брату, с которым всегда делилась сокровенным, о своем желании на несколько месяцев уехать за границу без мужа. Что же случилось за эти пять месяцев? Между двумя этими письмами произошло событие, изменившее жизнь и судьбу нашего героя. Он познакомился с Еленой Денисьевой...

Летом 1850 года у Тютчева была надежда получить «курьерскую дачу» и побывать в Германии. Однако курьерская экспедиция, которая ему была

твёрдо обещана и на которую он так рассчитывал, не состоялась. Возникли какие-то затруднения, но уже не было графини Марии Дмитриевны, чтобы их разрешить, сам же Федор Иванович не смог с ними справиться и отказался от своих прав на поездку. Лето ему суждено было провести в Петербурге. Эрнестина Федоровна заметила возбуждение мужа, но приписала его тому состоянию ожидания, в котором он обычно находился накануне отъезда на Запад. «Пытаясь обмануть свою потребность в перемене мест, он две недели разъезжал между Петербургом и Павловском. Он нанял себе комнату возле Вокзала и несколько раз оставался там ночевать, но мне кажется, что с этим развлечением уже покончено и теперь мы перейдем к чему-нибудь новому. Я слышу разговоры о поездке на Ладожское озеро, которая продлится 4 дня, а потом он, вероятно, отправится ненадолго в Москву, чтобы повидаться с матерью, а там наступит осень, и все встанет на свои места»^[202]. Увы, все на свои места не встало.

Комната возле Вокзала была снята для встреч с Лелей — Еленой Александровной Денисьевой, которая была моложе Тютчева на 23 года. Девушка рано осталась без матери и жила на попечении тетки Анны Дмитриевны Денисьевой, инспектрисы Смольного института благородных девиц. Служебная квартира инспектрисы находилась в Смольном, и ее племянница Лёля, хотя формально и не была смолянкой, имела возможность посещать занятия в институте. Дочь отставного майора, лишенного права на повышение в чине за вызов на дуэль своего полкового командира, росла и воспитывалась вместе с девушками из высшего общества. Более того, благодаря положению своей тетки она пользовалась гораздо большей свободой, чем они.

В ведении Анны Дмитриевны находился тот самый класс, в котором обучались Дарья и Екатерина Тютчевы. Федор Иванович, навещая своих дочерей-смолянок, часто посещал и их инспектрису, где и познакомился с ее племянницей. Один из родственников оставил воспоминания о Лёле в ту пору: «Учение ее шло вообще очень неправильно и главнейше ограничивалось только усвоением французского языка; но природа одарила ее большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников»^[21].

Лёля рано начала выезжать в свет и пользовалась большим успехом. Однако рассчитывать на блестящую партию ей не приходилось. Майорская дочка была бесприданницей. В свет она выезжала вместе с теткой. Вместе они бывали и у Тютчевых. «Денисьевы, тетка и племянница, обедают у нас завтра», — писала Эрнестина Федоровна Анне Тютчевой^{203}.^[22] Анна Дмитриевна любила играть в карты, не обременяла племянницу неусыпным надзором и не следовала пушкинскому совету:

Вы также, маменьки, поостроже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави Боже!^{204}

Лёля Денисьева вращалась в аристократическом кругу и пользовалась немислимой для барышни из высшего общества свободой. Тетка нередко оставляла ее подолгу гостить в разных богатых домах — у людей, с которыми она не была связана родственными узами. Это противоречило существовавшим в дворянском обществе правилам поведения. Смолянка могла остаться погостить в семье своей институтской подруги, а молодая девушка — у близких родственников. Лёля же бывала в гостях у тех, кто не был ее родственником и чью репутацию нельзя было назвать безупречной.

Одним из таких домов был семейный дом Александра Гавриловича Политковского, в свое время имевшего славу русского Монте-Кристо. Политковский не имел состояния, но щедрою рукой «сыпал золотом» и устраивал роскошные приемы. В его доме велась крупная карточная игра, в которой не гнушались принимать участие даже генерал-адъютанты императора и начальник штаба корпуса жандармов генерал Дубельт, однако там избегали бывать люди щепетильные. Лишь после скоропостижной смерти Александра Гавриловича выяснилось, что он растратил более миллиона рублей из средств, предназначенных для помощи увечным и заслуженным воинам. Были и другие дома в Петербурге, где постоянно собирались литераторы, актеры, музыканты и где свободно бывала Лёля, но куда девицам на выданье путь был заказан.

В одном из таких домов Елена Денисьева познакомилась с беллетристом графом Владимиром Александровичем Соллогубом. По осторожному предположению родственника Лёли, этот покоритель женских сердец «имел на нее нехорошее влияние»^{205}. Можно лишь догадываться, в чем оно заключалось. Тютчев — уже после смерти Елены

Александровны — однажды малодушно предпринял попытку к самооправданию перед родственником и в этом контексте помянул автора «Тарантаса» графа Соллогуба, своего светского знакомого и записного волокиту:

«Феодор Иванович указывал, что Лёле было уже двадцать пять лет, когда они сошлись между собою, что она много вращалась и прежде в таком легкомысленном и ветреном обществе, какое собиралось у Политковских или у графа Кушелёва-Безбородко, где всегда была окружена массою поклонников, в числе которых был и такой сердцеед, как граф Владимир Александрович Соллогуб, и т. д.»^[206].

Итак, великий русский поэт познакомился с молодой женщиной. Она не была для него ни дамой полусвета, ни невинной барышней. Всё началось как заурядное «васильковое дурачество». Возле Вокзала в Павловске была снята комната, где Тютчев иногда оставался ночевать. «Увлечению этому, как говорили, не только не противодействовала, а, скорее, даже напротив — содействовала его супруга Эрнестина Феодоровна, не думая, чтобы с этой стороны могла ей грозить какая-либо серьезная опасность, и видя в нем весьма полезный громоотвод против других увлечений более зрелыми и более, по ее мнению, опасными красавицами большого света, за которыми тогда ухаживал Феодор Иванович. Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры было всегдашней слабостью Феодора Ивановича с самой ранней его молодости, - поклонение, которое соединялось с очень серьезным, но обыкновенно недолговечным и даже очень скоро преходящим увлечением тою или другою особой. Но в данном случае его увлечение Лелею вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником, до самой ее кончины. Зная его натуру, я не думаю, чтобы он за долгое время не увлекался кем-нибудь еще, но это были мимолетные увлечения, без всякого следа, Лёля же несомненно привязала его к себе самыми крепкими узами»^[207].

Узы были действительно крепкими. 20 мая 1851 года у Тютчева и Денисьевой родилась дочь Елена, Лёля-маленькая. История получила широкую огласку: слишком заметное положение в свете занимали как камергер высочайшего двора, так и инспектриса Смольного института. Скандал едва не повлиял на судьбы Екатерины и Дарьи Тютчевых. Начальница Смольного института госпожа Леонтьева, озабоченная подмоченной репутацией своего учебного заведения, начала интриговать

против сестер-смолянок, стремясь всеми правдами и неправдами их удалить из института, и только обширные связи их отца в высших сферах помешали ей довести дело до конца. Однако всем Тютчевым эта интрига испортила много крови. Эрнестина Федоровна была искренне убеждена, что «испытала бы некоторое удовольствие при виде того, как четвертуют несчастную *Леонтьеву*»^{208}.

Начальница отыгралась на беззащитной инспектрисе. Анна Дмитриевна Денисьева была вынуждена покинуть свое место, получив, впрочем, очень большую для того времени пенсию — три тысячи рублей в год. На эти деньги они с Лелей впоследствии и жили. «...При всех исключительных качествах своего ума, при всем своим поэтическом даровании и основательном, высоком и многостороннем утонченном даровании и основательном, высоком и многостороннем утонченном образовании и при всей ни с чем не сравнимой прелести и обаятельности своей беседы, Федор Иванович был все-таки большой эгоист и никогда даже не задавался вопросом о материальных условиях жизни Лёли, которая все время жила на счет своей тетушки — тамап, живя у нее и с нею»^{209}, — вспоминал их родственник.

Отставной гусарский майор Денисьев, георгиевский кавалер и обладатель Золотого оружия «За храбрость», проклял дочь и едва не вызвал Тютчева на дуэль. Молва утверждала, что Федор Иванович, дабы избежать неприятностей, поспешил уехать за границу. Однако документы не подтверждают эти слухи. Тяжелее всех пришлось Елене Александровне. Общество от нее отвернулось, а бывшие подруги, за исключением одной, покинули ее. Денисьева искала и нашла свое утешение в религии, усердно молилась, пожертвовала все имевшиеся у нее драгоценные вещи на украшение иконы Божьей Матери в соборе всех учебных заведений близ Смольного монастыря. И относительное успокоение ей было ниспослано.

Реальный мир остался неизменным, но отношение к нему Елены Александровны изменилось радикально. Точнее, молодая женщина придумала свой собственный мир, центром которого стал Федор Иванович. «Мой боженька»^{210} — так называла она Тютчева и только себя считала его подлинной женой. Трагизм ситуации усиливался ошибочным мнением Денисьевой, что ее избранник состоит с Эрнестиной Федоровной в *третьем* по счету браке, а не во *втором*, как это было в действительности. (Не исключено, что поэт сознательно ввел возлюбленную в заблуждение.) Различие было принципиальным, ибо по канонам Православной церкви четвертый брак не мог быть разрешен. Даже развод Тютчева с женой или ее

смерть не дали бы Елене Александровне возможности узаконить свои отношения с отцом ребенка. О том, что она была в этом убеждена, свидетельствует в воспоминаниях муж ее сводной сестры: «Богу угодно было, — говорила она мне, — возвеличить меня таким браком, но вместе и смирить меня, лишив нас возможности испросить на этот брак церковное благословение, и вот я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальшивом положении, от которого и самая смерть Эрнестины Федоровны не могла бы меня избавить...»^[211] Положение же Эрнестины Федоровны не было жалким, но тоже было фальшивым: все знали о связи ее мужа с Лелей Денисьевой. Еще в конце лета 1850 года Тютчевы переехали в новую просторную квартиру на Невском проспекте у Аничкова моста, но из-за безденежья не смогли приобрести новую мебель для гостиной. Обсуждая эту проблему с братом, Эрнестина Федоровна грустно заметила: «Боюсь, что ради гостиной нам придется совершить безумство, а настроение у нас обоих такое не легкомысленное, что, боюсь, пострадает от этого гостиная...»^[212] В этой квартире, местоположение которой так нравилось госпоже Тютчевой, они прожили почти два года. 27 мая 1852 года Тютчевы покинули Петербург и отправились в Овстуг. Федор Иванович выдержал в деревне лишь до конца июня и поспешил вернуться в Петербург. Его жена с детьми, кроме учившегося в пансионе Дмитрия, осталась зимовать в Овстуге. Это был фактический разъезд супругов. Благопристойность была сохранена, супружеские отношения — нет. Разлука продолжалась шесть месяцев.

Вернемся к событиям годичной давности — к тому моменту, когда Лёля только что родила от Тютчева дочь Елену. Мы не знаем, как реагировала Эрнестина Федоровна на появление у ее мужа внебрачного ребенка. Однако достоверно известно, что Федор Иванович был в это время в разлуке с женой, и вряд ли эта разлука была случайной. Его письма, адресованные Эрнестине Федоровне, обширные выписки из которых я приведу ниже, дают представление о характере поэта, о его отношении к жене, о бушевавшей в семье Тютчевых буре... Как это ни покажется странным, но в поведении поэта не было «ни лжи, ни раздвоенья». Его натура органически сочетала вещи абсолютно несочетаемые — не желая прерывать своих отношений с Лелей, он стремился не просто сохранить семью, что было бы поступком обыденным и заурядным, но жаждал удержать привязанность своей дорогой Нести. Отношения поэта с женой и с Лелей меньше всего могут быть представлены, как банальный любовный треугольник, тремя вершинами которого были немолодой мужчина, его

молоденькая любовница и постылая жена. Тютчев отличался от Стивы Облонского из «Анны Карениной» или Бузыкина из «Осеннего марафона» не только масштабом своей личности, но и своего рода уникальным отношением к жене. И для Стивы Облонского, и для Бузыкина их законные жены были только обузой, к которым они испытывали единственное чувство — чувство вины, Бузыкин в большей, а Облонский — в меньшей степени. Тютчеву же Эрнестина Федоровна была необходима, и он воспринимал ее присутствие в своей жизни как предначертание судьбы, как Провидение. Ни при каких условиях он не мог и не хотел с ней расставаться.

Итак, я предоставляю слово Федору Ивановичу и напоминаю, что 20 мая 1851 года, то есть за полтора месяца до написания первого из этих писем жене, у него родилась внебрачная дочь.

«Что же произошло в твоём сердце, если ты стала сомневаться во мне, если перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня — всё, и что в сравнении с тобою все остальное — ничто? — Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если это потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли деле ты сомневаешься и не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения? Знаешь, милая моя кисанька, мысль, что ты сомневаешься во мне, заключает в себе нечто такое, что способно свести меня с ума.

Итак, любовь моя к тебе — лишь вопрос нервов, и ты говоришь мне этот вздор с выражением покорной убежденности. Известно ли тебе, что со времени твоего отъезда я, несмотря ни на что, и двух часов сряду не мог считать твое отсутствие приемлемым... Напрасно я упрекаю себя в малодушии, в безумии, в болезни, в чем угодно. Ничто не помогает. Это сильнее меня. Я с горьким удовлетворением почувствовал в себе что-то, что неизбежно пребывает, несмотря на все немоции и все колебания моей глупой натуры. А знаешь, что еще больше разбредило этот цепкий инстинкт — столь же сильный, столь же эгоистичный, как инстинкт жизни?.. Скажу тебе без обиняков. Это предположение, простое предположение, что речь шла о *необходимости сделать выбор* (курсив мой. — С. Э.), — одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы дать мне почувствовать бездну, лежащую между тобою и всем тем, что не ты. И конечно, не то чтобы мне нужно было сделать какое-то открытие на этот счет, — тут возмутилась гордость моей привязанности к тебе.

Увы, милая моя кисанька, во многом я бывал неправ... Я вел себя

глупо, недостойно... По отношению к одной тебе я никогда не был неправ, и это по той простой причине, что для меня совершенно невозможно быть неправым по отношению к тебе...

Итак, я отправляюсь в дорогу — и самым кратчайшим путем... Мне не терпится позавтракать с тобою у тебя на балконе... <...>

До свидания, милая моя кисанька. Твой бедный старик — старик, очень нелепый; но еще вернее то, что он любит тебя больше всего на свете»^[213].

Через одиннадцать дней Тютчев вновь возвращается к теме разлуки.

«Милая моя кисанька, хочу воспользоваться одной из своих добрых минут, — минут просветления, для того, чтобы написать тебе спокойное и рассудительное письмо, такое письмо, которое ты могла бы прочесть перед моим дагерротипом, не обращая к нему упреков. Позавчера, в среду, я получил письмо от 4-го, написанное в комнате с видом в сад и на маленькую церковь, той самой комнате, которую ты предназначала мне. Но не смею слишком останавливать свои мысли на всем этом из страха разбудить дремлющее чудовище... Ведь у меня нет больше твоего всемогущего присутствия, чтобы его успокоить. Да, без тебя мне многого стоит защищаться от него. В твоём письме разлит тихий покой, некая безмятежность, которая благотворно на меня подействовала. Я почувствовал себя живущим в твоих мечтаниях жизнью призрака. Этот вид существования не противен мне. После всех моих беснований это так успокаивает меня. Ах, милая моя кисанька, прости мне все те язвительные и глупые упреки, которыми я тебя осыпал, нарушив свойственную тебе тихую безмятежность, столь милую для меня, хоть я сам и делаю все от меня зависящее, чтобы помешать тебе ею наслаждаться. Итак, как раз в то время, как ты мирно читала покойного господина Карамзина, я, безумец, своим письмом заронил тревогу в твои мысли. Извещение о моем приезде; следующей почтой — отмена. Крики, причитания, безумствования. Ну, согласись, милая моя кисанька, что порой я бываю поистине отвратителен. Но ты меня любишь, прощаешь меня и жалеешь. И к тому же, ты не можешь скрыть от самой себя в такие минуты, что и на тебе лежит доля ответственности за мои сумасбродства. Ведь ты же знаешь, что когда ты тут, я никогда не кричу так громко...»^[214]

Следует подчеркнуть, что летом 1851 года, несмотря на неоднократные обещания приехать к Эрнестине Федоровне и детям, Тютчев так и не побывал в Овстуге.

Прошел год. Летом и осенью 1852 года, когда жена и дети вновь жили

в Овстуге, Федор Иванович не торопился навестить их в своем родовом имении. Он по-прежнему каждый день бывал в свете, где, несмотря на холеру, блестящие балы и рауты сменяли друг друга — и камергер Тютчев везде был желанным гостем. Из Петербурга в Овстуг шли письма, наполненные политическими новостями и светскими сплетнями, тоской и жалобами на непрекращающуюся разлуку. Наш герой сетовал как на Эрнестину Федоровну, так и на саму судьбу. Он искренне недоумевал, почему его роман с Лелей повлиял на его брак и взаимоотношения с женой. Поэтическая натура легко совмещала то, что в реальной жизни было несовместимо в принципе, — и Тютчев не мог понять, почему окружающие не разделяют его чувств.

«Последнее полученное от тебя письмо всегда при мне до прибытия следующего. Ах, до чего жалки эти временные облегчения, как все ничтожно и бессильно перед отсутствием. Что за нелепость и что за измена по отношению к нам самим — эта разлука... Ну, что же, пусть... Нам доказано теперь, что мы можем жить недели, даже целые месяцы, в разлуке друг с другом. Остается предположить, что в кармане у нас обещание, подписанное Господом Богом, что мы проживем по меньшей мере сто лет... Судьба, судьба!.. И что в особенности раздражает меня, что в особенности возмущает меня в этой ненавистной разлуке, так это мысль, что только с одним существом на свете, при всем моем желании, я ни разу не расставался, и это существо — я сам... Ах, до чего же наскучил мне и утомил меня этот унылый спутник. <...>

Ах, милая моя киска, я кончаю тем, чем начал... Мы никогда не должны были бы соглашаться на эту разлуку»^{215}.

Федор Иванович настойчиво хлопотал о том, чтобы его старшая дочь Анна получила место фрейлины при дворе цесаревны Марии Александровны. Эрнестина Федоровна жила в деревне и уверяла родных, что не чувствует себя несчастной. Она понимала, что их материальные обстоятельства настоятельно требовали строгой экономии, которой можно было достичь лишь за счет продолжительного деревенского уединения. Сделать решительный шаг Эрнестину Федоровну подтолкнула получившая широкую огласку связь ее мужа с Денисьевой. Ее не угнетала неизбежная скука деревенской жизни. Она любила русскую деревню и русскую природу. «...Все это исполнено величия и бесконечной печали. Мой муж погружается здесь в тоску, я же в этой глуши чувствую себя спокойно и безмятежно. У меня всегда есть о чем подумать или, вернее, есть что вспомнить»^{216}. И все же она не могла не тревожиться за себя и за Федора

Ивановича в ожидании предстоящей встречи.

Тридцать первого декабря 1852 года Тютчев приехал в Овстуг. Его дочери были у всенощной и не прервали молитву даже из-за приезда отца. Эрнестина Федоровна получила возможность провести с мужем целый час с глазу на глаз. Она сказала ему: «...я в мире никого больше не люблю, кроме тебя, и то, и то! уже не так!»^{217} Накануне Тютчевы получили официальное известие о назначении Анны фрейлиной цесаревны. Этой чести домогались многие, но Федор Иванович обратился с просьбой к великой княгине Марии Николаевне и добился успеха, написав ей не как верноподданный дочери императора, а как мужчина — женщине. Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать этот блестящий образец тютчевского эпистолярного жанра:

«Сударыня, всякий раз, когда мне в жизни выпадало счастье приблизиться к в<ашему> императорскому > в<ысочеству>, в душе моей оставалось ощущение тепла и благодати. Рядом с вами я всегда ощущал, что бремя жизни становится легче... Неужели вы рассердитесь на меня за то, что в столь естественных обстоятельствах я почти непроизвольно устремился к вашей руке, как стремятся к воздуху и свету. — Нет, сердце в<ашего> и<мператорского> в<ысочества> мне порукой, что, каков бы ни был исход моей просьбы, ваше высочество соизволит не считать ее ни докучливой, ни неуместной»^{218}.

Фрейлине Тютчевой следовало поспешить к своей должности. Однако Федор Иванович, несмотря на свой всегдашний страх одиночества в дороге, уклонился от того, чтобы отправиться в Петербург вместе с Анной. От Овстуга до Петербурга было несколько дней пути (только до Москвы поездка занимала четыре дня^{219}), отец и дочь были бы обречены на неизбежные многочасовые разговоры в замкнутом пространстве кареты — и Тютчев опасался неизбежных объяснений со взрослой дочерью по поводу своих отношений с Лелей. Эрнестина Федоровна справедливо полагала, что барышне их круга неприлично путешествовать одной, и настаивала на совместной поездке в столицу камергера высочайшего двора и фрейлины цесаревны. Федор Иванович был обижен тем, что жена не стремилась удержать его возле себя после шестимесячной разлуки. У супругов были тяжелые объяснения. Не желая стать дополнительным поводом для родительской распри, Анна настояла на том, чтобы уехать одной, и пустилась в путь в сопровождении горничной и управляющего их родовым имением.

Отношение Эрнестины Федоровны к мужу изменилось: она стала

испытывать нечто похожее на жалость, тем более что его очевидная бытовая неустроенность давала для этого достаточно поводов. Поэт и раньше не отличался особой опрятностью, а теперь, лишенный заботы жены, и вовсе опустил. И Эрнестина Федоровна поспешила написать фрейлине Тютчевой: «Прошу тебя, милая Анна, отложи, если можешь, немного денег, чтобы бедный папа мог немного приодеться по возвращении, он ужасно оборвался...»^{220}

Тютчев задержался в Овстуге. Не только Эрнестина Федоровна, но и дочери поэта были осведомлены о его романе с Денисьевой. Смолянки Дарья и Екатерина знали, что связь отца с их бывшей подругой продолжается, и, разумеется, прервали все отношения как с ней, так и со своей старой инспектрисой, хотя Анна Дмитриевна всегда была к ним очень добра. Привыкшая к жизни в свете старушка огорчалась, что ее все забыли. Тютчев попытался взять под защиту тетку своей возлюбленной и не постеснялся заговорить об этом с незамужней дочерью. Во время прогулки с Екатериной он завел разговор на эту трудную тему и сказал, что они напрасно не пишут Анне Дмитриевне и боятся опечалить этим Эрнестину Федоровну: та якобы удивлена их отношением к бывшей инспектрисе Смольного. Китти прекрасно понимала, что написанное из Овстуга письмо Денисьевой поставит ее и Долли в необходимость навестить отставную инспектрису по возвращении в Петербург, и отмолчалась, решив посоветоваться с новоиспеченной фрейлиной. Ответ Анны был категоричен: «...Я считаю все эти фальшивые и неловкие демонстрации смехотворными и ненужными. Старушке Денисьевой не нужны ни вы, ни ваша дружба, ни ваши письма, и не будь она старой дурой, она бы понимала, что вы ее терпеть не можете на законном основании. Несчастье не в том, что люди не понимают друг друга, а в том, что они делают вид, что не понимают»^{221}. Это письмо дает исчерпывающее представление о сформировавшемся характере фрейлины и объясняет, почему впоследствии недоброжелатели будут иронично называть Анну «Ave Tutcheflf» — «Святая Тютчева»^{222}.

Двадцать пятого января 1853 года, всего лишь через двенадцать дней после поступления Анны во дворец, цесаревна представила свою новую фрейлину императору Николаю I. Анна навсегда запомнила этот день. Представление происходило в маленькой дворцовой церкви, сразу же после обедни. Государь задал ей два-три вопроса, а затем вечером в театре был занят не столько спектаклем, сколько новой фрейлиной: он в несколько приемов и довольно долго разговаривал с девушкой в маленькой

императорской ложе. Придворные, привыкшие держать нос по ветру, сразу же заметили и должным образом оценили этот явный знак августейшего внимания — отныне фрейлина Тютчева могла чувствовать себя при дворе уверенно и на скользком дворцовом паркете стоять твердо. Анна быстро сблизилась с женой наследника, стала ее доверенной фрейлиной и даже начала играть некоторую политическую роль, способствуя передаче цесаревичу Александру Николаевичу различных записок и меморандумов.

Тем временем светское общество злословило по поводу затянувшегося пребывания Эрнестины Федоровны в Овстуге. «Закончил я вечер у Карамзиных-Мещерских, где опять много говорили о тебе и о том, когда ты всего вероятнее можешь вернуться. По правде сказать, подобные благожелательные толки о тебе мне совсем разонравились, ибо совершенно ясно, что все эти добрые души уже рассматривают тебя как нечто почти несуществующее, как поэтическое воспоминание — и в этом существенная разница между их и моей точкой зрения... Ах, милая моя киска, когда же ты станешь для меня реальностью!»^{223}

Федор Иванович решил положить конец «нелепой бессмыслице нашей разлуки»^{224} и нашел довольно оригинальный выход из сложившейся ситуации. 22 марта 1853 года он сообщил жене, что приготовил для семьи квартиру на нижнем этаже, а сам поселился в том же доме Сафонова, но отдельно, на втором этаже^{225}. Эта комбинация позволяла сохранить благопристойность и избежать супружеских отношений.

*

В мае 1853 года Эрнестина Федоровна решила отправиться за границу. Одновременно Федор Иванович попросил о курьерской экспедиции в Берлин и Париж и на сей раз получил согласие. В заграничный вояж супруги отправились врозь: конечная цель, Париж, у них была одна, но путевые маршруты они избрали разные. 10 июня Эрнестина Федоровна вместе с дочерью Марией и сыном Иваном села на пароход, идущий в Любек, а спустя три дня и Федор Иванович морским путем отправился в Штеттин.

Камергер Тютчев — этот «вестник войны или мира»^{226} — вез депеши, сообщавшие о том, что русской армии отдан приказ занять Дунайские княжества Молдавию и Валахию. Княжества оккупировались в ответ на отказ Турции признать права Православной церкви во владениях

Османской Порты. Эта решительная акция императора Николая I стала фактическим началом Восточной (Крымской) войны 1853—1856 годов, а наш герой — ее первым вестником в двух европейских столицах. Его жизнь и судьба оказались вовлечены в водоворот событий, которым предстояло на несколько десятилетий определить ход Истории. «Какая удача для него — в такой момент оказаться в Париже, в центре политических сплетен»^{227}, — заметила фрейлина Тютчева.

Эрнестина Федоровна с детьми обосновалась в Франконвиле, в долине Мюнмора, поселившись в уединенном маленьком домике, некогда принадлежавшем ее матери. Тютчев остался в Париже и изредка навещал жену и детей. В свою очередь, и Эрнестина Федоровна время от времени приезжала в Париж повидаться с мужем. Назвать эти отношения доброжелательными и родственными можно, но не более того. Эрнестина Федоровна была в восторге от своего путешествия, однако скучающий вид Федора Ивановича несколько отравлял ей удовольствие. Чрезвычайный посланник во Франции Николай Дмитриевич Киселев в канун Восточной войны был обременен многочисленными делами и просто физически не имел возможности проявить гостеприимство в отношении своего соотечественника. Только две петербургские дамы были внимательны и любезны с Тютчевым. Так что в Париже Федор Иванович был лишен привычного общества, что особенно остро заставляло его чувствовать свою неприкаянность. «Один папа скучает, но ведь папа не скучающий — это уже не папа»^{228}.

У Тютчева были серьезные основания скучать. Он предвидел, что разрастающийся конфликт между Российской империей и Оттоманской Портой, возникший весной 1853 года, является лишь «началом событий столь важных и столь роковых, что никому из живущих ныне не охватить умом ни значения их, ни размаха...»^{229}. Эти предвидения оставались гласом вопиющего в пустыне. В великосветском обществе царила феноменальная беспечность, и Париж ничем не отличался от Петербурга. События развивались стремительно. 4/16 октября 1853 года турецкий султан, подстрекаемый правительствами Англии и Франции, чья соединенная эскадра вошла к этому времени в пролив Дарданеллы, объявил войну России. Первоначально боевые действия велись только на Дунае и в Закавказье и были ознаменованы победами русского оружия, которые, по словам Тютчева из письма жене, не соответствовали, однако, «дряблости политического управления»^{230}. 18/30 ноября эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала Нахимова в Синопском сражении

уничтожила турецкий флот Осман-паши. Турки потеряли 13 кораблей с 476 орудиями (7 фрегатов, 2 корвета и 4 парохода), четыре тысячи человек убитыми и утонувшими и 200 человек пленными. На следующий день при деревне Башкадыкларе (на Кавказе) генерал князь Бебутов нанес поражение турецкому корпусу, урон неприятеля составил около шести тысяч человек. Казалось, что скоро сбудется давнее пророчество Тютчева:

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?^{231}

Прозаическая действительность внесла свои коррективы. Геополитические интересы Российской империи столкнулись с интересами других государств Западной Европы. Две великие державы, Англия и Франция, резонно опасаясь усиления позиций России на Ближнем Востоке, заключили соглашение о совместных действиях против нее. Кроме того, существовала реальная угроза вмешательства в войну против России других стран — Австрии, Пруссии и Швеции. 23 декабря 1853 года/4 января 1854 года англо-французский флот вошел в Черное море. 9/21 февраля 1854 года Россия объявила о разрыве дипломатических отношений с Англией и Францией, после чего Тютчев предсказал неизбежность войны. Прогноз Тютчева сбылся через три недели: Англия и Франция объявили войну России. Сражения велись на нескольких театрах военных действий: на Черном, Балтийском и Белом морях, а также на Дальнем Востоке. Основные боевые действия развернулись в Крыму, что и дало повод назвать всю войну Крымской. 2/14 сентября 1854 года флот союзников начал высадку войск под Евпаторией. Выяснилось качественное превосходство их вооружения: паровых кораблей над парусными, нарезных ружей против гладкоствольных. Союзники могли наносить существенный урон русским войскам, не подвергая себя смертельной опасности. Оставалось только чрезмерно уповать на «русского Бога». Тютчев заметил: «Надо сознаться, что должность русского Бога не синекура»^{232}. Вскоре после своей успешной высадки в Крыму союзники одержали несколько побед и осадили Севастополь. Началась 349-дневная героическая оборона Севастополя.

За это время неприятель шесть раз подвергал город бомбардировкам, причем во время последней, шестой, бомбардировки 24—26 августа 1855

года защитники города теряли по две-три тысячи человек в день. 27 августа начался последний штурм Севастополя. Французам удалось захватить Малахов курган — ключевую позицию русской обороны и господствующую над городом высоту. В седьмом часу вечера русские войска фактически сдали Севастополь: оставили Южную сторону города и заняли оборону на Северной стороне. Союзники торжествовали победу. На Тютчева давно ожидаемая, но от этого не менее страшная весть о севастопольской катастрофе произвела «подавляющее и ошеломляющее впечатление»^{233}. К концу года боевые действия практически прекратились и начались переговоры о мире. 18/30 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор. Российская империя вынуждена была отказаться от своих недавних притязаний на покровительство православных подданных Порты и согласиться на нейтрализацию Черного моря. Имперскому престижу был нанесен чудовищный урон: России было запрещено иметь военно-морской флот и базы на Черном море. Впервые за долгие годы была нарушена территориальная целостность Империи: Южная часть Бессарабии с устьем Дуная была отторгнута от России.

*

Между тем частная жизнь нашего героя шла своим чередом. Хотя семейная драма Тютчевых несколько потеряла свою остроту и невольно отошла на второй план на фоне трагических событий Крымской войны, она была далека от завершения и все эти годы продолжала развиваться по своим собственным законам.

Камергер Тютчев 9/21 сентября 1853 года возвратился в Петербург, а его жена с двумя детьми осталась за границей и переехала к брату в Мюнхен. Она объясняла это соображениями экономии. Эрнестина Федоровна деловито подсчитала, что возвращение в Петербург накануне долгой северной зимы и зимнее пребывание в столице приведут к непомерным тратам и необходимости вновь вернуться в Овстуг. С одной стороны, Федор Иванович не желал считаться с этой прозой жизни и не хотел новой продолжительной разлуки, с другой — чувствовал свою вину перед женой. В результате им овладели гнетущая скука и безнадежная печаль. «Папа находится в таком унынии и так раздражен, что мне трудно описать тебе его состояние. Он бродит, как неприкаянный, и, кроме вопроса о возможности возвращения мама, его ничто не занимает»^{234}.

Эрнестина Федоровна обуздала свое желание повидать мужа и твердо решила остаться на зиму за границей: экономическая целесообразность одержала победу над эмоциями. Это решение могло привести к весьма вероятным необратимым последствиям. Тютчев настолько сильно тревожился о том, что жена может не вернуться в Россию, что даже забыл на время о Восточном вопросе. Он не знал об одном обстоятельстве. Анна и Эрнестина Федоровна пришли к выводу, что всей семье Тютчевых было бы очень хорошо провести несколько лет за границей, и разработали совместный план достижения этой цели. Вот почему госпожа Тютчева, решившая дожидаться мужа в Германии, не торопилась с возвращением в пределы Российской империи. Она не хотела навсегда покидать Россию и увозить с собой мужа, но была убеждена, как писала Анне Тютчевой, что «в силу тысячи разных причин ему необходимо порвать с некоторыми дурными привычками, возникшими в Петербурге, и я не вижу для этого иного средства, как удалить его оттуда — удалить на несколько лет»^[235]. Эрнестина Федоровна умоляла падчерицу добиться для Федора Ивановича такого места, которое позволило бы ему провести с семьей два-три года за границей. Прочные позиции фрейлины Тютчевой при малом и большом дворах позволяли надеяться на успех этого предприятия.

План не удалось осуществить. Эрнестина Федоровна пробыла за границей одиннадцать месяцев и 11/23 мая 1854 года возвратилась в Петербург. Федор Иванович приготовил ей маленькую квартирку, а сам намеревался поселиться в отеле. Анна увидела, что мачехе в этой квартирке будет чрезвычайно неудобно, и решила убедить ее сократить пребывание в Петербурге до пределов строгой необходимости, а затем вновь отправиться в деревню. 31 мая Эрнестина Федоровна покинула столицу и выехала в Овстуг.

*

Днем ранее петербургский цензор В. Бекетов дал разрешение на издание «Стихотворений Ф. Тютчева», и в июне 1854 года небольшая книжечка в 1/16 долю листа вышла в свет^[236].^[23] В этот первый прижизненный сборник поэта вошло 111 стихотворений, среди них были напечатаны и те, в которых автор откровенно поведал читающей публике о всех перипетиях своего романа с Лелей.

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность^{237}.

Стихотворение «Последняя любовь» стало фактом русской поэзии. Мы не знаем, как современники поэта отнеслись к этим признаниям: соотнесли ли они тексты первых стихотворений «Денисьевского цикла» с реалиями частной жизни автора или скромно воздержались от бытовых коннотаций и комментариев. Не ведаем мы и о реакции родных и близких Тютчева. Остается лишь гадать, с каким чувством они должны были читать поэтическую исповедь своего отца и мужа. Сам Федор Иванович не принимал никакого участия ни в издании собственных произведений, ни в их последующей судьбе. В его письмах этого времени много поэтических пророчеств и прозаических светских сплетен, но ничего не сказано о собственной книге. Автор ухитрился не обмолвиться о ней ни единым словом^{238}. По-настоящему его волновали лишь Восточный вопрос и затянувшаяся разлука с Нести. Впрочем, эта длительная разлука имела благотворные последствия для судеб русской культуры: Тютчев регулярно писал жене обстоятельные письма, сохранившие для нас его непосредственное восприятие важнейших исторических событий в их незавершенности.

*

24 февраля/8 марта 1854 года. «Я был одним из самых первых, видевших приближение и рост этого страшного кризиса, — и теперь, когда он наступил и готовится охватить весь мир, чтобы перемолоть и преобразовать его, я не могу представить себе, что все это происходит на самом деле и что мы все без исключения не являемся жертвой некоей ужасной галлюцинации. Ибо — больше обманывать себя нечего — Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом крупнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему — рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти. И вызвано это

столкновение не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой гнусностью Франции, воплотившейся в авантюристе, и даже не немцами, а чем-то более общим и роковым. Это — вечный антагонизм между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: *Запад и Восток*. — Теперь, если бы Запад был *единым*, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного — и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь».

9 июня 1854 года. «Знаешь ли ты, что мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции?»

23 июля 1854 года. «Если бы я не был так нищ, с каким <наслаждением> я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего крестинизма. Что за отродье, великий Боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы!»

27 июля 1854 года. «Я никогда не обманывался насчет беспримерной посредственности этих людей, но самая эта посредственность меня и ободряла. Я глупо надеялся, что Бог, которому я приписывал мои личные предпочтения, не допустит, чтобы эти люди были серьезно подвергнуты испытанию. Он допустил это, и теперь, несмотря на огромное значение вопроса, невозможно присутствовать без отвращения при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодьями. <...>

И, однако, вопреки и наперекор тому, что происходит и метется в тайниках наших душ, банальная жизнь, жизнь внешняя идет своим чередом».

18 августа 1854 года. «Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который внезапно приходит в себя. Но, к несчастью, мне даже не надо приходить в себя, ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу, — к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и все это недомыслие».

30 ноября 1854 года. «Понимают ли, что сбились с пути, ибо завязли. Но где началось уклонение? с каких пор? как вернуться на правильный путь? и где он, каков он, этот правильный путь, — вот, конечно, чего эти люди не в силах угадать. Да иначе и не может быть. Тот род цивилизации,

который привили этой несчастной стране, роковым образом привел к двум последствиям: *извращению* инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка. Повторяю, это относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, — ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода».

21 мая 1855 года. «Одним словом, несмотря на истинные чудеса храбрости, самопожертвования и т. д., нас оттесняют, и даже в будущем трудно предвидеть какой-нибудь счастливый оборот. Совсем напротив. По-видимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, оказалось и на нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь пределы и ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось явному давлению, всё и все отупели».

17 сентября 1855 года. «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастливого человека (Николая I. — С. Э.), который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. <...> Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России, — и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями».

*

Восточная война была всего лишь первым шагом по пути практической реализации тютчевских историософских построений. Грядущие последствия этого шага нельзя было рационально просчитать, но можно было интуитивно предвидеть. В начале войны Тютчев как

политический мыслитель радовался предстоящему завоеванию Царьграда, но как поэт уже тогда предчувствовал грядущие бедствия. Философские и политические идеи поэта всегда отличались эстетической завершенностью. Именно в этом заключалась их ахиллесова пята, ибо эстетическая завершенность оправдана самим фактом своего существования, она не нуждается в практическом воплощении и не предполагает его. Художественная самодостаточность теоретических построений плохо уживается с изменчивыми нуждами практической политики и прагматическими требованиями грубой реальности. Идея, платя дань наличному бытию, безвозвратно утрачивает свою самодостаточность и завершенность. Практика — это не только критерий истины, но и непримиримый враг любой теории, претендующей на художественное совершенство и абсолютную завершенность, пусть даже эстетическую. Когда Тютчев возмущался беспечностью, равнодушием и косностью умов своих современников, известная доля этого возмущения была порождена чувством досады на невозможность приложить критерий художественного совершенства к сфере практической политики. Практика всегда является критерием истины, но художественное совершенство никогда не может быть критерием практики.

Трагедия Крымской войны продемонстрировала практическую несостоятельность Российской империи воплотить в жизнь идею всемирной христианской монархии и создать «Великую Греко-Российскую Восточную Державу». Некогда Тютчев уповал не только на физическую мощь самодержавия, но и его нравственное превосходство над «гнилым» Западом. Именно в этом нравственном превосходстве еще в 1848 году, в разгар западноевропейских революций, он видел залог грядущего торжества России — торжества порядка над хаосом. Поражение Российской империи в кровопролитной войне не стало трагедией политического мыслителя. Идея оказалась мифом — и Тютчеву пришлось примириться с печальной судьбой своего идеала в сфере практической политики. Однако это печальное для политического мыслителя обстоятельство не привело ни к его духовному кризису, ни к смене им ориентиров и никак не сказалось на склонности поэта к мифотворчеству.

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья -
Он всё в себе мирил и совмещал ^{239}.

Так поэт Тютчев написал о поэте Жуковском. Однако эти строфы, с

известными оговорками, могут быть адресованы и их автору В его обыденной жизни и его судьбе легко найти и ложь, и раздвоенье, но поэту, хотя и не без борьбы, удавалось их мирить и совмещать. «Он представляется мне одним из тех недоступных нашему пониманию духов, что исполнены разума, проницательности и огня, однако лишены души, хотя и с материей не имеют ничего общего. Он совершенно вне всяких законов и общепринятых правил! Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное»^[240]. В своем мировоззрении, как и в своей частной жизни, Тютчев по-прежнему весь был «воплощенный парадокс»^[241].

Восемнадцатого февраля 1855 года скончался император Николай I. Когда Федору Ивановичу сообщили об этом, то он со свойственной ему яркостью речи сказал: «Как будто вам объявили, что умер Бог»^[242]. Он прекрасно понимал, что вместе с этим человеком в прошлое уходит целая эпоха, и уже в начале апреля пустил в оборот крылатое слово «оттепель»^[243], ^[24] благополучно пережившее своего создателя, спустя столетие дошедшее до нашего времени и после смерти Сталина ставшее нарицательным. Пройдет несколько месяцев, и Тютчев под непосредственным впечатлением от севастопольской катастрофы напишет эпиграмму-эпитафию покойному самодержцу:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, -
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей^[244].

Многое справедливо в этих горьких словах. Но не будем забывать о том, что Тютчев, осуждавший государя за лицедейство и призрачные политические цели, сам был заинтересованным зрителем тех событий, которые происходили на театральных подмостках Истории, и в своих меморандумах на высочайшее имя пытался довести до сведения царя собственные химерические идеи. Впоследствии Анна Тютчева назовет Николая I «Дон-Кихотом самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным»^[245] и забудет о том, что ее собственный отец несколько раз порывался побудить императора одни пустые призраки заменить другими.

На престол взошел император Александр II — и Анна Тютчева из

фрейлины цесаревны Марии Александровны превратилась во фрейлину царствующей императрицы и стала весьма влиятельной особой. Император и императрица осыпали ее милостями. С любимицей государыни был вынужден считаться даже опытный царедворец канцлер граф Нессельроде. У камергера Тютчева вновь появился шанс сделать скачок по службе.

В августе 1855 года вечный фрондер и оппозиционер князь Петр Андреевич Вяземский был назначен товарищем (заместителем) министра народного просвещения. Карл Пфедфель, узнав из газет об этом назначении, написал сестре Эрнестине Федоровне, что, по его мнению, ее муж, как человек более сведущий, имеет гораздо больше прав на эту должность. Эрнестина Федоровна уже хорошо усвоила особенности чиновничества в России и, вероятно, лишь посмеялась над аргументацией брата. Оставалось уповать лишь на счастливый случай. Случай представился.

В конце 1855 года освободилось место попечителя Московского университета. Это была весьма завидная и хорошо оплачиваемая должность, кроме того, попечителю полагалась казенная квартира. Жизнь в Москве была значительно дешевле, чем в Петербурге. Эрнестина Федоровна, для которой столичная жизнь давно уже стала невыносимой, хотела поселиться в Первопрестольной и прервать затянувшуюся связь мужа с Денисьевой. И тогда фрейлина Тютчева начала ходатайствовать о том, чтобы место попечителя досталось ее отцу. Она очень много хлопотала перед новым товарищем министра народного просвещения князем Вяземским, давним приятелем отца, и императрицей Марией Александровной. Последовал ответ, который ясно свидетельствовал о социальной репутации статского советника Тютчева у власть предержащих. «Мне сказали, что с точки зрения интеллектуальной папа был бы на месте в этой должности, однако существуют еще стороны материальная и финансовая, которыми нужно будет управлять, а вот с этим, полагают, он вряд ли сможет справиться. На это я уж не знала что ответить, ибо слишком хорошо знаю папа, чтобы на него полагаться в этом отношении»^{246}.

Отлично осознававшая свое возросшее влияние при дворе и свою ответственность за будущее родителей, фрейлина Тютчева продолжала добиваться благоприятного исхода своей просьбы. «А если мы не добьемся места попечителя, то нет ли у вас в виду какого-либо другого, о котором я могла бы похлопотать? Сказать не могу, как я была бы счастлива снять с мели это семейство, похожее на увязнувшую телегу, которая не может сдвинуться с места. А главное, мне бы так хотелось, чтобы в этом семействе научились рассудительности и здравомыслию, чтобы не

убивались из-за воображаемых огорчений и вкладывали больше сил в самую жизнь. Это небрежение собой кажется мне самой печальной вещью в мире»^{247}.

Итоговый вывод фрейлины страдал излишней категоричностью. Эрнестина Федоровна была женщиной рассудительной. Став женой Федора Ивановича, она заплатила его долги и ряд лет содержала на свой счет большую семью, но она не передала мужу принадлежавшее лично ей солидное состояние и сохранила за собой право им распоряжаться. Эта здравомыслящая женщина, привыкшая к жизни в Овстуге, решила вложить собственные средства в недвижимость и приобрести в ставшем уже родным Брянском уезде имение с пятьюстами душами крестьян. Это приобретение почти в два раза увеличило земельные владения супругов в уезде. Отныне им принадлежало 1100 крепостных, что позволяло рассчитывать на годовой доход 12,5 тысячи рублей серебром или, как писала Эрнестина Федоровна брату, примерно «48 или 50 тысяч франков», причем от 20 до 24 тысяч франков в год должно было приносить новое имение. Прозаически подсчитав свои грядущие доходы, жена поэта сделала не очень утешительный вывод: средства позволили бы семье Тютчевых «благополучно просуществовать везде, кроме Петербурга, однако здесь этих денег далеко недостаточно»^{248}. Однако Эрнестина Федоровна не теряла надежду на то, что Федор Иванович получит, наконец, хорошее назначение.

Власть понимала необходимость реформ, и ветер перемен набирал силу. Наиболее одиозные министры предшествующего царствования смещались Александром 11 с занимаемых должностей и увольнялись в отставку. Смена сановников происходила постепенно: кое-кто из приближенных Николая I остался у власти и при новом императоре. Тютчев сказал, что эти сановники напоминают ему «волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших после их погребения»^{249}. Граф Нессельроде, в течение сорока лет стоявший во главе внешней политики Российской империи, не удержался на своем посту и 15/27 апреля 1856 года (как раз на Пасху!) получил отставку. Тютчев о своем бывшем патроне отозвался так: «Россия со своим народным характером, преданиями, потребностями, интересами представлялась ему какою-то отвлеченною величиной, <...> он имел о ней понятие как о “пятой великой державе”»^{250}. Новым министром иностранных дел стал князь Александр Михайлович Горчаков, который давно уже был знаком с Федором Ивановичем, всегда был к нему расположен и готов оказать протекцию.

Шеф жандармов впоследствии признался князю, что будущий министр долгие годы значился в проскрипционных списках III Отделения: «Князь Александр Горчаков не без способностей, но не любит Россию»^{251}.

*

Пожалование новых чинов обычно приурочивалось к Пасхе, и 7/19 апреля 1857 года, в Светлый день, Тютчев был произведен в чин действительного статского советника (IV класс Табели о рангах соответствовал армейскому чину генерал-майора). Он по-прежнему оставался на должности старшего цензора и, как говорили в то время, цензировал иностранные газеты, то есть просматривал, чтобы одобрить или запретить их распространение в Российской империи. Однако Тютчев, получив этот исключительно высокий для занимаемой им должности чин, обрел новое качество. Отныне все нижестоящие чиновники должны были официально обращаться к нему «ваше превосходительство». Больше всех генеральскому рангу «Фединьки» радовалась жившая в Москве Екатерина Львовна Тютчева, мать Федора Ивановича.

Следовало заказать новый, соответствующий чину парадный мундир. Построить, как тогда говорили, мундир стоило 800 рублей. Это была огромная сумма, но выбора не было. (На эти деньги *десять* мелких чиновников, подобных Акакию Акакиевичу Башмачкину, могли бы обзавестись настоящей «подругой жизни» — шинелью «на толстой вате, на крепкой подкладке без износу»^{252}. Напомню, что гоголевский герой шинель пошил за 80 рублей, а жалованья получал всего-навсего 400 рублей в год!) Прежний мундир давно уже потерял свой первоначальный вид от долгого употребления и небрежного обращения. В этом мундире Тютчев вызывал у близких «смешанное чувство нежности и печали»^{253}.

Дорогой мундир не мог быть быстро пошит — портной потребовал трехнедельный срок. Пришлось смириться. Это какое-то время мешало Федору Ивановичу присутствовать на торжественных церемониях во дворце, где мундир был обязателен. Император Александр II, подобно усопшему родителю, был исключительно щепетилен, когда речь шла об униформе, да так, что даже почтенному генералу мог выразить свое неудовольствие, обнаружив малейший недочет. Впрочем, для Тютчева государь однажды сделал исключение из правил. Федор Иванович появился во дворце в сильно поношенном камергерском мундире, император заметил

это, меланхолически посмотрел — и ничего не сказал. Однако наш герой понимал, что было бы неприлично вновь явиться во дворец в старом мундире, и острил по этому поводу: «Следственно, мне представляется случай закрепить в уме его величества императора впечатление *юродивого*, которое я на него произвел»^{254}.

Представляться министру по случаю получения нового чина Тютчев поехал еще в старом мундире, ибо не принадлежал к тем честолубцам, которые, предвкушая получение генеральского чина и не опасаясь сглазить, еще до официального пожалования заранее заказывали мундир портному. Итак, благодарить министра чиновник поехал в старом мундире, но князь Александр Михайлович был выше подобных условностей и любезно обошелся с поэтом. Прошло чуть более месяца, и 25 мая его превосходительство в письме жене так отозвался о его сиятельстве, своем новом патроне: «Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. Сливки у него на дне, молоко на поверхности»^{255}.

Мундир, наконец, был готов. Действительный статский советник облачился в это произведение портновского искусства и отправился на придворное торжество в Царском Селе. О том, что же произошло дальше, мы можем узнать из его письма жене от 1 июня 1857 года. «А теперь, упомянув о Царском, перейду прямо к рассказу о появлении моего нового мундира во всем его девственном и непорочном блеске под великолепными потолками дворца Великой Императрицы. Да, в самом деле, эти чудные своды должны были благосклонно улыбнуться при этом блестящем явлении, которого им еще не доставало и которого они так долго ждали. Что же касается безмозглой толпы, двигавшейся вокруг меня, то я не очень уверен, что она заметила это чудесное появление»^{256}.

*

В это время освобождалось множество весьма завидных должностей. Однако Эрнестина Федоровна пессимистически смотрела в будущее и полагала, что у ее мужа нет никаких служебных перспектив и что ему не суждено стать ни посланником, ни товарищем министра. Она понимала, что в этом виноват только один человек — сам Федор Иванович. «Его лень поистине ужасает. Он никогда ничего не пишет; он, можно сказать, ничего не делает, ибо цензурирование газет — это дело, которое можно выполнять на

скорую руку, затрачивая на него не более получаса в день, к тому из каждых двух недель он занимается этим только одну. Кн. Горчаков хотел бы, чтобы он писал статьи для газеты “Le Nord”, но муж мой уверяет, что мог бы говорить там только такие вещи, которые говорить нельзя, и, следовательно, воздерживается, а потому с этим министром иностранных дел у него не самые лучшие отношения, не лучшие, чем были прежде с графом Нессельроде. Надеяться на повышение по службе ему нечего; единственное, о чем можно мечтать, это чтобы у него не отняли занимаемую должность, как-никак приносящую ему 2400 рублей»^{257}.

Этот пессимистический прогноз не оправдался. Князь Александр Михайлович Горчаков высоко ценил как поэтический талант, так и интеллект своего подчиненного и снисходительно относился к отсутствию у него служебного рвения. Министр предложил ему быть «редактором газеты или нечто в этом роде»^{258}. Тютчев отказался, ибо предвидел неизбежные препятствия в своей будущей деятельности: неумолимые трудности были обусловлены наличием цензуры. Свои мысли о цензуре в России Федор Иванович изложил в специальной записке, завершенной в ноябре 1857 года. Записка, естественно на французском языке, была написана в виде личного письма князю Александру Михайловичу. Министр представил ее государю, автор ознакомил с ней своих друзей. Наступили новые времена, и слово «*гласность*» вошло во всеобщее употребление и получило права гражданства.

*

Вот некоторые фрагменты записки: «Нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнёт, без существенного вреда для всего общественного организма. Видно, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно влечет за собою усиление материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов...

...Для того, чтобы приобрести над умами, достигшими зрелости, то нравственное влияние, без которого нельзя помышлять о возможности руководить ими, следовало бы прежде всего вселить в них уверенность, что по всем великим вопросам, которые озабочивают и волнуют ныне страну, в высших слоях правительства существуют если и не совсем готовые решения, то по крайней мере строго-сознанные убеждения и свод правил,

во всех своих частях согласный и последовательный.

...Судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливающая волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход.

...Нужно ли в сотый раз повторять следующее столь очевидное положение: что в наше время везде, где свобода прений не существует в довольно обширных размерах, ничто невозможно, решительно ничто в нравственном и умственном смыслах...

...До тех пор, покуда правительство у нас не изменит совершенно, во всем складе своих мыслей, своего взгляда на отношение к нему печати, покуда оно, так сказать, не отрешится от этого окончательно, до тех пор ничто поистине действительное не может быть предпринято с некоторыми основаниями успеха; и надежда приобрести влияние на умы с помощью печати, таким образом направляемой, оставалась бы постоянным заблуждением»^[259].

Миновал ровно год после получения нового чина. 17/29 апреля 1858 года действительный статский советник Тютчев был назначен на соответствующую его чину должность и стал председателем Комитета цензуры иностранной, при этом его не перевели в Министерство народного просвещения, которому формально подчинялась цензура, а оставили в ведомстве Министерства иностранных дел^[260]. Первое время он охотно занимался своими новыми служебными обязанностями, но уже через несколько месяцев заметно к ним охладел, благо место, которое он занял, легко позволило ему так поступить. Эта привилегированная должность представляла собой «род синекуры и замещалась всегда лицами, имевшими связи и протекцию в высших сферах»^[25]. На должность председателя Комитета Тютчев был назначен именным высочайшим указом, следовательно, и сместить его мог только император. Последнее обстоятельство делало служебное положение нашего героя исключительно прочным. Действительно, в течение пятнадцати лет, вплоть до самой смерти, он удерживал за собой этот для многих завидный пост и успешно противостоял интригам, нацеленным против вверенного ему ведомства.

Штат Комитета был невелик и состоял из трех старших цензоров, руководивших работой отделений (немецко-итальянского, англо-французского, славянского), трех младших цензоров, трех помощников старших цензоров, библиотекаря и секретаря. Это была архаичная и дорогостоящая организация, финансирование которой шло отдельной

строкой в государственном бюджете. Комитет имел свою канцелярию и располагался в старинном здании — доме Шольца на Обуховском проспекте, вблизи Сенной площади. Здесь же находилась казенная квартира секретаря, которому приходилось трудиться буквально день и ночь из-за огромного делопроизводства. Ни сам председатель, ни его ведомство не были юридически подчинены ни Главному управлению цензуры Министерства народного просвещения, ни позже, после цензурной реформы 1865 года, Главному управлению по делам печати Министерства внутренних дел.

Независимое положение как самого Комитета цензуры иностранной, так и его председателя вызывало нескрываемое раздражение сановных бюрократов, особенно министра внутренних дел Валуева. Министр, жонглируя либерально-реформаторской фразеологией, настойчиво интриговал и безуспешно пытался добиться ликвидации Комитета. Тютчев умело противостоял интригам и непрекращавшимся попыткам усилить мелочный контроль над его ведомством, но так и не смог добиться отмены неизбежной канцелярской волокиты. Ежемесячно министру народного просвещения посылались обширные ведомости и выписки о ежедневных занятиях чиновников. Разумеется, министр не имел возможности даже бегло просматривать эти бумаги, и действительный статский советник Тютчев, последовательно отстаивавший независимость своего ведомства, полагал, что в его Комитете «письмоводство значительно может быть сокращено, без нарушения сущности самого дела»^[261].

Действуя по законам межведомственной интриги, Тютчев не чуждался демагогических заявлений, решительно возражая против освобождения от цензуры специальных изданий на иностранных языках, предназначенных для ученых. «Профессорам и имеющим ученые степени такое право предоставить было бы неудобно»^[262]. Это был тонко рассчитанный ход. Председатель Комитета прекрасно осознавал, с кем он имеет дело. В марте 1863 года по высочайшему повелению право бесцензурного получения иностранных изданий формально было предоставлено лишь небольшой группе сановников: министрам, их товарищам, членам Государственного совета, генерал-губернаторам и начальникам областей. Ученые к этой привилегированной категории высших чиновников отнесены не были. Впрочем, и стоящие у кормила государственной власти сановники далеко не всегда имели реальную возможность легально получать запрещенные в России заграничные сочинения. Министр народного просвещения и одновременно обер-прокурор Святейшего Синода граф Дмитрий

Андреевич Толстой был известен своей личной благонамеренностью и крайней консервативностью проводимого им курса, однако первые пять лет своего министерства (1866—1871) он не имел права получать запрещенные цензурой иностранные издания^{263}. Раз сановник такого ранга столь долгое время не мог легально приобретать недозволенные сочинения и на законном основании хранить их в своей домашней библиотеке, то было бы наивно полагать, что государь предоставит это право университетским профессорам и доцентам. А раз так, то Комитет цензуры иностранной сохранял свою важность и не мог быть ликвидирован.

Служившие в Комитете чиновники были людьми образованными: свободное владение несколькими языками считалось нормой. Им полагалось весьма значительное по столичным меркам жалование, вот почему получить штатную должность можно было, лишь пройдя конкурсный отбор и выдержав серьезный экзамен. Чиновники владели пером и не чуждались литературных занятий. Среди подчиненных Федора Ивановича оказались поэты Майков и Полонский. Они души не чаяли в своем начальнике. «Назначение Тютчева было целой революцией во внутренней жизни комитета. О личном влиянии Федора Ивановича на весь состав его и говорить нечего: все были крещены новым духом, а Аполлону Николаевичу (Майкову. — С. Э.) это было поводом к более тесному сближению с человеком, который умел стоять всегда выше своего века: зная прошедшее, верно предсказывая будущее, он, в великих событиях своего времени, оказал немалое влияние на направление русской внешней политики»^{264}.

Все чиновники Комитета отлично осознавали низкую эффективность, вернее, бессмысленность собственной деятельности. Практически любую запрещенную литературу на иностранных языках, изданную за границей, можно было приобрести без особых проблем в книжных лавках или у разносчиков-букинистов (у тех и других, разумеется, из-под полы). Торговля контрабандной литературой была делом прибыльным. Иностранные книги, брошюры и периодические издания стоили дорого и покупались людьми состоятельными. Читатели иностранных изданий, как правило, не были склонны к потрясению основ, что не мешало им постоянно злословить по поводу цензуры. Чтение запрещенной литературы и ее хранение в собственной библиотеке не содержали в себе состава преступления: уголовной ответственности подлежали контрабандисты и продавцы «запретного плода», но не читатели.

К своим служебным обязанностям председателя Комитета

действительный статский советник Тютчев относился спустя рукава, словно исполнял что-то постороннее и ненужное. За три года до смерти Федора Ивановича секретарем Комитета был назначен офицер в отставке Златковский. К этому времени Тютчев уже более десяти лет возглавлял Комитет, но, по деликатному замечанию подчиненного, «в канцелярской работе был не особенно сведущ»^{265}. Во время Крымской войны Златковский получил контузию в затылок и по этой причине физически не мог «гнуть шеи». Своего начальника он обожал и считал существом высшего порядка. Сохранилось свидетельство секретаря Комитета о стиле работы его председателя, которое прекрасно корреспондируется с воспоминаниями светской знакомой поэта.

М. Л. Златковский: «Тютчев был враг всякого формализма, ему было в тягость прочитывать то, что он подписывал; достаточно было в двух словах сообщить ему содержание бумаги и, если оно не противоречило его взглядам, он удовлетворялся; а как там оно оформлено и в каких выражениях оно изложено — это его нисколько не занимало и он вполне предоставлял секретарю выбирать и тон, и выражения, и подписывал бумагу, не читая»^{266}.

А. О. Смирнова-Россет: «Тютка (так она называла поэта. — С. Э.) долго находится у матери, проводит дней восемь со своей семьей, где погибает от скуки, возвращается в Москву, а мало-мальское удовольствие получает, лишь живя в Петербурге. Его назначили цензором иностранных книг, что дает ему небольшие деньги и занятие, а когда он слишком уж соскучится, он едет в Париж или Швейцарию. Ему все равно, лишь бы менять место и видеть другие места и слышать другие разговоры.

— Какая странная неугомонная натура!

— Это бывает с гениальными натурами, то же самое ведь с Пушкиным и Гоголем»^{267}.

*

Хотя жалованье Федора Ивановича и увеличилось на тысячу рублей в год, Эрнестина Федоровна продолжала сетовать, что эта солидная прибавка отнюдь не компенсирует расходы на жизнь в столице. Действительно, с 1854 года Тютчевы жили в доме Лазарева на Невском проспекте, возле Армянской церкви. Эта квартира в 14 комнат с паркетными полами и окнами на Невский проспект обходилась в 1400 рублей серебром в год, еще

100 целковых доплачивалось за конюшню и сарай^{268}.

Стремясь сократить расходы, Эрнестина Федоровна по-прежнему большую часть года проводила в Овстуге. Можно предположить, что ее решение было продиктовано не только прагматичным желанием «с расходом свесть приход»^{269}, но и стремлением найти достойный выход из непростой жизненной коллизии. Ведь все эти годы не прекращалась связь ее мужа с Денисьевой. Однако Эрнестина Федоровна не утратила надежду и каждое лето с нетерпением ожидала приезда Федора Ивановича в имение. А он имел привычку постоянно откладывать свой приезд.

О том, как она его ждала, очень выразительно рассказано в письме дочери Дарьи: «Мы дважды в день напрасно ходили встречать его на большую дорогу, такую безрадостную под серым небом. <...> Каждое облако пыли, казалось нам, несло с собой папа, но каждый раз нас ожидало разочарование: то это было стадо коров, то телега. Один раз мы даже заметили дорожную коляску; ожидание было столь напряженным, что мы готовы были выпрыгнуть, увидев некоего господина, важно восседавшего в коляске и бросившего, проезжая мимо нас, удивленный взгляд на наши лица, исполненные тревоги. Наконец, когда мы доехали до той горы, что в 7 верстах от нас, ожидание стало невыносимым и для меня, и для мама, которая, как мне казалось, пришла в полное уныние; я помолилась Матери Божьей и просила ее сделать так, чтобы папа появился сейчас же, — и едва я закончила молитву, как кучер указал нам на Федора Ивановича... Лошадей осаживают, мама прыгает прямо в пыль, и если бы ты видела ее счастье, ее радость, ты была бы глубоко тронута. С ней сделалось что-то вроде истерики, которую она пыталась скрыть за взрывами смеха»^{270}. На сей раз радость Эрнестины Федоровны продолжалась более двух недель! Ведь Тютчев далеко не каждый год приезжал в Овстуг, нередко его пребывание там ограничивалось всего лишь несколькими днями.

Итак, жена большую часть года жила в деревне, а ее муж в это время вел светскую жизнь в столице. «Папа блуждает из одного салона в другой»^{271}. Подобный образ жизни не способствовал укреплению здоровья поэта, которое давно уже внушало обоснованное опасение его близким. Однако сам Федор Иванович и слышать не хотел о том, чтобы пройти полный курс лечения: его терпения хватало только на то, чтобы взять две процедуры. Если после этих двух сеансов не наступало мгновенное выздоровление, то он падал духом. Эрнестина Федоровна великолепно изучила его характер: «Этот старик всегда так неблагоприятен и так нетерпелив — он все пробует и все бросает»^{272}. Дабы побудить

мужа серьезно заняться своим здоровьем и, хотя бы на время, оторвать от пагубных петербургских привычек, она решила поехать с ним для лечения на воды.

Федор Иванович остался верен себе и, желая сократить расходы на предстоящий продолжительный заграничный отпуск, обратился к князю Горчакову с просьбой о курьерской экспедиции в Берлин и Мюнхен. Министр просьбу уважил. 9 мая 1859 года Тютчев покинул Петербург. Несколькими днями ранее с тремя детьми уехала Эрнестина Федоровна. 22 мая/3 июня они встретились в Мюнхене. «Две недели, которые он провел с нами здесь, принадлежат к лучшим в моей жизни. *Чаровник* неизменно оправдывал это свое наименование; несмотря на то, что мы обречены здесь на почти полное одиночество, он был так добр и ласков, что я была в восторге и не узнавала его. Однако в конце концов простая и здоровая жизнь ему надоела...»^{273}

Тютчев покинул семью, побывал в Мюнхене, откуда отправил жене письмо с жалобой на одиночество, а затем уехал в Вильдбад, якобы для того, чтобы пройти там курс лечения, но уже через три недели он «возненавидел это глупое место»^{274} и уехал в Париж. На какое-то время семья потеряла его из виду. Все очень беспокоились и не могли представить себе, куда следовало обратиться, чтобы избавиться от этой тревоги. Они не знали, куда посылать ему письма. Родных утешало только одно: в газетах не было никаких сообщений о происшествиях на железной дороге. Можно только гадать, чем было продиктовано его исчезновение. Не исключено, что большую часть своего отпуска Федор Иванович провел с Лелей. Но самое замечательное, что сам он не скрывал собственного недовольства, досады и даже обиды, когда не получал писем от жены и дочерей.

«Одним словом, недовольный, раздосадованный, обиженный — это я, и когда ты мне станешь говорить, что я — любимый, я этому ничуть не поверю.

И потом, к чему эти четыре дочери, из которых ни одна не соблаговолит подать мне признака жизни? Стоит быть отцом столь многочисленного потомства!»^{275}

Официальный отпуск был предоставлен Тютчеву сроком на три месяца. Хотя он вновь ухитрился его просрочить, на сей раз, «чтобы очистить свою совесть», Федор Иванович решил написать несколько писем с просьбой о продлении отпуска. Свой поступок он объяснил с неподражаемым изяществом: «Не то, чтобы я боялся потерять свое место, но во избежание вечных плоских шуток по поводу моей

рассеянности»^{276}. Не дожидаясь официального ответа, поэт самовольно продлил свой отпуск. У него было веское основание рассчитывать на снисходительность начальства.

На модном курорте Веве (Швейцария) он встретился с вдовствующей императрицей Александрой Федоровной, которую сопровождала его дочь Дарья, недавно ставшая фрейлиной. «Императрица уже дважды приглашала его — один раз на обед, а вчера он был украшением ее вечера. Она просила у него книжку его стихов, которую папа постоянно забывает принести»^{277}. Лишь после нескольких напоминаний камергер Тютчев выполнил просьбу государыни. Вдова Николая I с удовольствием прочла стихи и заметила фрейлине, что ее отец «еще очень молод душой». Напомню, что в первом поэтическом сборнике Тютчева были стихотворения, посвященные Денисьевой. Императрица из Веве уехала в Ниццу и увезла книгу с собой. Она постоянно говорила с Дарьей о тютчевских стихах. Одно стихотворение Александра Федоровна выучила наизусть и однажды, во время бессонницы, даже попыталась перевести его на свой родной немецкий язык. (Русскому языку императрицу-мать учил поэт Жуковский, впоследствии ставший воспитателем ее старшего сына.) До самой смерти, а ей оставалось жить ровно год, императрица Александра Федоровна перечитывала и бережно хранила подаренный ей томик стихов. После ее кончины императрица Мария Александровна, которая тоже была большой поклонницей личности и поэзии Тютчева, не сочла возможным оставить книгу себе, послала эту реликвию Дарье и деликатно намекнула: «Мне очень хотелось бы иметь такой же экземпляр стихотворений вашего отца»^{278}. Исследователи полагают, что фрейлина выполнила просьбу государыни и возвратила книгу Марии Александровне.

Покинув Петербург в начале мая, председатель Комитета цензуры иностранной вернулся к своей должности лишь 2/14 ноября 1859 года. Вероятно, его письма о продлении отпуска так поразили непосредственных начальников, что действительный статский советник Тютчев добился большего, чем ожидал. Обычно он просто забывал вернуться в срок. Отпуск ему, разумеется, продлили. Кроме того, чиновнику вернули деньги, которые по закону подлежали обязательному вычету из его жалованья, ибо во время нахождения в столь длительном отпуске деньги не начислялись. Чтобы добиться этого, министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский направил письмо своему брату Егору Петровичу, который был в это время директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел. «Желая пособить в денежном отношении нашему

доброму Федору Ивановичу Тютчеву, я встречаю надобность в пособии вашего министерства. Дело вот в чем: он просился у меня в отпуск на 3 месяца, и содержание трехмесячное ему оставлено по высочайше утвержденному докладу моему. Но он пробыл в отпуске за границу сверх того еще 1½ месяца, за что, по закону, следует удержать у него содержание. Нельзя ли от вас уведомить меня, что он эти 1½ месяца был занят по М<инистерству> иностр<анных> дел; тогда бы я счел бы это не за отпуск, а за занятия и испросил бы оставить Тютчеву содержание за излишние 1½ месяца. Это составит рублей 500—600, что для Тютчева весьма важно»[\[279\]](#).

На этом благодеяния министра народного просвещения не закончились. Ковалевский обратил внимание на то, что у Тютчева нет ни одного ордена. Действительно, редко кому удавалось дослужиться до столь высокого чина и ухитриться не получить хотя бы самый скромный орден. Причина понятна. Федор Иванович предпочитал денежные награды, и его непосредственные начальники склонны были удовлетворять пожелание подчиненного. Этим Тютчев сильно отличался от подавляющего большинства чиновников, которые не мыслили свою служебную карьеру без получения очередного крестика. У них погоня за крестами и лентами становилась настоящей страстью и нередко принимала болезненные формы. Федор Иванович не без сарказма написал о посланнике в Мюнхене, своем приятеле: «Наш бедный Северин получил ленту Св. Александра Невского, что заставило его сразу же перейти от жалостливого тона к торжествующему, от элегии к дифирамбу...»[\[280\]](#)

Итак, 1/13 января 1860 года наш герой получил свой первый орден — крест Святого Владимира 3-й степени. Это была довольно высокая награда, а для не имевшего никаких орденов чиновника — просто совершенно исключительная. Именно такой награды был удостоен Николай Михайлович Карамзин за первые тома «Истории государства Российского» — и это был первый орден государственного историографа. Много воды утекло с тех пор. За истекшие десятилетия социальный престиж многих наград ощутимо понизился, но шейный крест Святого Владимира сохранил свой высокий социальный статус и в качестве первой и завидной награды продолжал цениться как в военной, так и в чиновничьей среде. Это был орден не из последних, и девальвация его не коснулась. Примечательна реакция жены поэта. «Сообщаю тебе, дорогая, что отец твой недавно был награжден самым скромным образом — Владимиром 3-й степени *на шею*.

Приходить в восторг нет причины, и Любимый еще не решился украсить себя этим орденом. Сделал ему этот сюрприз министр Ковалевский, который попросил для него орден. Что до меня, я нахожу, что мне испортили Старика, я предпочитаю его без всяких орденов»^{281}.

В те времена орденские знаки изготавливались из благородных металлов, стоили очень дорого, и награжденные приобретали их за свой счет; ново-пожалованный же кавалер получал только официальное уведомление о награждении, но не сам орден. Федор Иванович решил воздержаться от подобной траты. Во всяком случае, ни на одном из его портретов орденов мы не увидим. Младшая дочь поэта поведала нам конец этой истории с первым орденом. «Рассеянность папа становится всё более притчей во языцех, и он утверждает, что это ему выгодно, т. к., постоянно забывая надеть этот несчастный орден, который ему только что нацепили, он может на нее ссылаться. Ты смеялась бы, как сумасшедшая, слушая его причитания; он рассматривает этот крест как немилость»^{282}. Действительный статский советник и камергер Тютчев оскорбился, что его, постоянного собеседника августейших особ, этим изрядным орденом фактически приравняли к заурядному чиновнику.

Ранней весной 1860 года Федор Иванович пережил обострение подагры и был вынужден оставаться дома ровно четыре недели, причем десять дней из них провел в постели. Столь продолжительное пребывание в четырех стенах он рассматривал как настоящее заточение и периодически переживал приступы нетерпения, близкие к ярости. Через месяц он поправился и возобновил привычную светскую жизнь. Влиятельные знакомые позаботились

О поэте, и император Александр II согласился предоставить Тютчеву продолжительный заграничный отпуск, разумеется, с сохранением содержания. 8/20 мая 1860 года Тютчев проводил Эрнестину Федоровну и дочь Марию в Овстуг, после чего сам отправился в Москву навестить мать. 20 июня/ 2 июля Федор Иванович выехал за границу и только

1 декабря возвратился к должности, на полтора месяца просрочив отпуск.

В это время Китти Тютчева проходила курс лечения на немецких курортах. Анна умоляла ее издали последить за лечением отца. Оговорка старшей дочери будет понятна, если учесть, что Тютчев отправился в путешествие вместе с Лелей Денисьевой. «Заграничные путешествия, — вспоминал ее родственник, — Лёля особенно любила, потому что тогда Феодор Иванович был в полном и нераздельном ее обладании, и ее теория

о законном с ним браке осуществлялась тогда и на практике»^{283}. А в это время Эрнестина Федоровна, не зная, где искать мужа и куда адресовать ему письма, с грустью писала Дарье: «Будь у меня муж, который мог бы жить вдали от света и интересовался бы управлением своих земель, я была бы безмерно счастлива. <...> После 16 сентября у меня не было вестей от папа, а письмо его было от 1/13 сентября. Давно пора кончиться всей этой неразберихе и всем нам соединиться»^{284}. Конца этой неразберихе не предвиделось: 11 октября 1860 года в Женеве Елена Александровна родила сына Федора^{285}.

Мы не знаем, как Федор Иванович отреагировал на появление еще одного ребенка, но достоверно известно, что именно в это время он очень сильно переживал по поводу затянувшегося девичества своих взрослых дочерей. За одной из них ухаживал Иван Сергеевич Тургенев, за другой — Лев Николаевич Толстой, но ни в том, ни в другом случае, к немалой досаде светских знакомых, браком дело так и не закончилось. «Сия замысловатая комбинация», иронически заметила Анна, «отнюдь не привлекает ни одну из сторон»^{286}. Барышни Тютчевы не были огорчены. Историки культуры и литературы скорбят по сию пору, хотя умело скрывают свои чувства. Анна, в мужья которой прочили Тургенева, насмешливо заключила: «Но если г-на Тургенева не трогают чары дочерей, то в их отца он положительно влюблен. Папа и он — лучшие друзья: встретившись, они проводят целые вечера один на один. Они так хорошо соответствуют друг другу — оба остроумны, добродушны, вялы и неряшливы»^{287}.

Барышням нелегко было найти достойную партию. Их отец вращался в исключительно высоких сферах, к которым девушки привыкли с юных лет, но камергер Тютчев не мог обеспечить дочерей богатым приданым, которое позволило бы им сохранить такой же образ жизни и после замужества. Дело в том, что хотя сам камергер годами вел жизнь, для которой у него не было достаточных средств, он не испытывал по этому поводу никаких неудобств: очевидный для всех Божий дар Федора Ивановича позволил ему легко занять и до самой смерти прочно удерживать за собой единственное в своем роде место. В мундирном городе Санкт-Петербурге он мог позволить себе появиться во фраке там, где для всех присутствующих был обязателен парадный мундир с орденами. Отец взрослых дочерей просто обязан был давать балы, чего Федор Иванович из-за недостатка средств никогда не делал.

Светский человек не должен был ходить пешком и не мог пользоваться

услугами дешевых извозчиков, человеку из высшего общества надлежало иметь собственный выезд — все эти обязательные нормы поведения Федор Иванович мог игнорировать без всяких последствий для своей репутации светского человека. Наш герой не мыслил своего существования вне элиты общества, и его дочери с трудом представляли себе иную жизнь. От будущего мужа они ожидали, что он предоставит им такую возможность. Но даже среди их великосветского окружения редкий жених обладал достаточными для этого богатством и знатностью. Высокий социальный статус сохранить было практически невозможно — мезальянс барышни изначально отвергали.

Когда руки Китти Тютчевой попросил один московский знакомый, она решила посоветоваться с отцом. «Утром я говорила с папа, и он очень помог мне правильно взглянуть на вещи. У этого господина 600 душ, но отец его так мало заботился о своем состоянии, что в настоящее время он имеет 3000 р. серебром в год, а это мало, почти ничего. Но Бог все устроит к лучшему!»^[288] Действительно, трудно было угодить барышне, считавшей, что три тысячи рублей серебром в год — это почти ничего. Чтобы современный читатель смог понять, насколько неадекватно Китти воспринимала жизнь, я приведу следующий пример. Когда будущий военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин стал профессором Военной академии и одновременно занял важный пост в штабе Военно-учебных заведений, то он по обеим должностям получал до 2700 рублей серебром в год и искренне считал себя обеспеченным человеком. Подчеркну, что Милютин был отцом большого семейства (четыре дочери и два сына), жил только службой и не был помещиком и душевладельцем^[289].

Камергер Тютчев, прекрасно разбиравшийся в реалиях большой политики, абсолютно не представлял себе реалий обыденной жизни и чистосердечно недоумевал, почему его дочери никак не могут выйти замуж. «Во всяком случае давно пора, и, между нами, дорогой друг, не скрою от вас, что этот рок, тяготеющий над моими дочерьми, этот рок, столь зловещий и вместе с тем столь необъяснимый, порой вызывает у меня приступы сильнейшего раздражения... Я, конечно, знал многих женщин за свою долгую жизнь. Так вот, говоря беспристрастно, я мало встречал таких, которые стоили бы моих дочерей. Как же получается, что они не находят ценителей более умных и более явных»^[290] ^[26]

Графу Льву Николаевичу Толстому трудно отказать в уме. Он был увлечен Екатериной, Китти Тютчевой и даже подумывал о женитьбе.

Дневник писателя и его письма позволяют нам проследить перипетии этого несостоявшегося романа.

25 января 1857 года: «Вечер у Сушковых. Тютчева мила».

24 ноября 1857 года: «Был у Тютчев<ой?>. Ужасно неловко почему-то».

19, 30, 31 декабря 1857 года: «Бал у Бобринских, Тютчева начинает спокойно нравиться мне».

1 января 1858 года: «Визиты, дома, писал. Вечеру Сушковых. Катя очень мила».

7 января 1858 года: «Бал маленький, грязный, уроды и мне славно, грустно сделалось. Тютчева вздор!»

8 января 1858 года: «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего».

19 января 1858 года: «Тютчева. Занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести».

20 января 1858 года: «М. Сухотину с язвительностью говорил про К. Тютчеву И не перестаю, думаю о ней. Что за дрянь! Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет».

28 марта 1858 года: «Вечер у Сушковых. Увы, холоден к Тютчевой».

15 сентября 1858 года: «Виделся с Коршем и Тютчевой. Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней; но она старательно холодно приняла меня».

20 марта 1859 года: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве, которую она переняла, верно, от ваших старушек».

14 мая 1861 года: «Прекрасная девушка К. — слишком оранжерейное растение, слишком воспитана на “безобязательном наслаждении”, чтобы не только разделять, но и сочувствовать моим трудам. Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь с землей, с навозом. Ей это грубо и чуждо, как для меня чужды и ничтожны стали моральные конфетки»^[291].

*

Наступило неблагоприятное время для «оранжерейных растений». 19 февраля 1861 года император Александр II издал Манифест об освобождении крестьян. Все, от самодержца до вчерашнего крепостного, понимали, что этот день разделил их жизнь на *до* и *после*. 6/18 марта Манифест был напечатан во французском переводе. Перевод выполнил

камергер Тютчев, посвятивший государю всего лишь одно четверостишие, но сумевший выразить суть того, что произошло.

Ты взял свой день...
Замеченный от века
Великою Господней благодатью —
Он рабский образ сдвинул с человека
И возвратил семье меньшую братью...[{292}](#)

Эти стихи, по свидетельству императрицы Марии Александровны, «растрогали государя», и императрица пожелала иметь их копию и выразила надежду, что стихи незамедлительно напечатают. Мария Александровна прекрасно изучила характер Федора Ивановича и поэтому осторожно написала Дарье Тютчевой: «...но нужно это сделать помимо вашего отца»[{293}](#). В конце весны князь Горчаков готов был предоставить своему подчиненному курьерскую экспедицию и очередной продолжительный отпуск в Висбаден. Министр выдвинул только одно условие: лишь бы поэт «выполнил его поручение и *перепечатал свои стихи*»[{294}](#). Летом 1861 года Федор Иванович за границу не поехал. Камергер Тютчев не снизошел к августейшей просьбе. Стихи появились в печати только семь лет спустя.

На карьере действительного статского советника это никак не отразилось и не помешало ему в этом же году получить очередную награду — звезду и ленту ордена Святого Станислава 1-й степени. Ирония истории заключалась в том, что убежденный противник папства был удостоен ордена, учрежденного в честь католического святого — краковского епископа, убитого своими политическими противниками за верность папскому престолу. Вероятно, и на сей раз Тютчев решил воздержаться от приобретения орденских знаков.

Прошел еще один год, заполненный необременительной службой, приятными светскими знакомствами и продолжающимся романом с Лелей Денисьевой. Зимой поэт блистал в великосветских салонах, отпуская свои знаменитые остроты, а лето провел за границей. В конце весны 1862 года он на три месяца был откомандирован в Европу от Министерства иностранных дел. Поездка за казенный счет могла оказаться последней, ибо в это время уже начались реформы и обсуждался вопрос о целесообразности дальнейшего существования Комитета цензуры иностранной. Тютчев легко мог лишиться своего места. Эрнестина

Федоровна полагала, что в эпоху перемен чиновнику его ранга следовало бы оставаться в Петербурге, но он пренебрег грозящей опасностью и отправился за границу. В этой поездке его вновь сопровождала Елена Александровна Денисьева с детьми, а Эрнестина Федоровна вновь не знала, куда адресовать письма.

В Петербург Тютчев вернулся в середине августа и 30 августа — в день именин государя — отправился в Зимний дворец на церемонию торжественного выхода императора. Обычно наш герой игнорировал придворные церемонии, но на сей раз над его Комитетом сгустились тучи — и камергер Тютчев решил напомнить двору о своем существовании. Он прибыл во дворец «в полном параде и в золоченой карете, прокатившей его шагом по Невскому»^{295}. 8 сентября камергер побывал в Новгороде и принял участие в торжествах, связанных с открытием памятника 1000-летию России. Ранее он никогда не уделял так много времени своим придворным обязанностям. Его жест был замечен и оценен.

Грозное облако прошло мимо. Комитет избежал реформирования и сохранил свою независимость. После этого Федор Иванович попросил отпуск на десять дней и провел их в Москве с Лелей. В Петербурге он не позволял себе особых вольностей и избегал появляться с ней на людях. Лёля не имела собственного экипажа и почти всё время проводила дома, в душной атмосфере с вечно закрытыми окнами. А в это время Федор Иванович с Лёлей-маленькой отправлялся на Острова дышать свежим воздухом — то в коляске, то на одном из невских пароходов. Елена Александровна не могла сопровождать их в этих прогулках и очень сильно страдала от этого. Первопрестольная, в отличие от Петербурга, допускала известную свободу, но даже в Москве высокопоставленный чиновник никогда бы не посмел появиться с любовницей в публичном месте. Тютчева же с Денисьевой знакомые видели даже в Кремле. Всё это не способствовало миру в семье. Анна Тютчева писала сестре Екатерине: «Я хорошо понимаю все, что ты говоришь мне о нем <отце>. Ничего отрадного во всех наших семейных отношениях. При отсутствии какого бы то ни было настоящего, явного несчастья в них так много скрытого страдания и так мало радости, доверия, простоты, в них есть что-то такое натянутое, что подавляет душу»^{296}.

Начало нового, 1863 года принесло Тютчеву новую награду: 17/29 января он был пожалован орденом Святой Анны 1-й степени. Мы видим, что наш герой с началом царствования Александра II стал получать награды один раз в два года. Эта периодичность требует комментариев. Император Николай I, борясь со злоупотреблениями в раздаче чинов и знаков отличия и желая повысить их престиж, повелел, чтобы чиновников даже за отличие по службе не представляли к очередной награде ранее истечения двух лет со времени получения последнего пожалования. Государь хотел сделать, как лучше, а получилось, как всегда. «...При Николае Павловиче нельзя было отличиться по службе больше одного раза через два года. Зато счастливы через два года непременно отличались»^[297], — вспоминал современник. При покойном императоре Тютчев не принадлежал к их числу, но при новом государе стал таким счастливым.

Однако 1863 год, несмотря на столь счастливое начало, выдался для Тютчева тяжелым. В ночь с 22 на 23 января в Царстве Польском вспыхнуло восстание. Одновременно в нескольких десятках пунктов Царства повстанцы неожиданно напали на военные гарнизоны и попытались их уничтожить. Хотя в большинстве случаев эти нападения были отбиты, военное командование, опасаясь возобновления подобных попыток, сочло целесообразным осуществить перегруппировку и концентрацию войск. Малочисленные гарнизоны были выведены из некоторых населенных пунктов, а восставшие их заняли без боя. Подавление восстания растянулось почти на полтора года. Общественное мнение Западной Европы сочувствовало восставшим полякам. Федор Иванович, убежденный в необходимости сохранить территориальную целостность Империи, испытывал чувство тревоги, вызываемое опасным положением России, которой грозила новая война с коалицией европейских держав.

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова —
Всё поднялось и всё грозит тебе,
О край родной! — такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!^[298]
(«Ужасный сон отяготел над нами...»)

Поэта беспокоило, что даже среди высших сановников отсутствовало единство по поводу польских дел. Министр внутренних дел Валуев и петербургский генерал-губернатор князь Суворов, внук знаменитого полководца, осуждали жесткие меры, направленные на подавление восстания и усмирение Польши силой оружия. «Что скажет на это Европа?» — вопрошал князь Суворов, этот «гуманный внук воинственного деда»^{299}, как назвал его Тютчев.

Федор Иванович был исполнен беспокойства, волнения и тревоги. Его смятение было вызвано полнейшим отсутствием *единомыслия* в высших сферах по поводу того, как следует решать польский вопрос. Сталкивались противоположные взгляды, стремления, интересы, а объединяющая всех идея отсутствовала. Дневник министра внутренних дел зафиксировал это с предельной откровенностью:

«Мы все ищем моральной силы, на которую могли бы опереться, и ее не находим. А одною материальной силой побороть нравственных сил нельзя. Несмотря на все гнусности и ложь поляков, на их стороне есть идеи. На нашей — ни одной. В Западном крае и в Царстве повторяются теперь проскрипции древнего Рима времен Мария и Суллы. Это не идея. Мы говорим о владычестве России или православия. Эти идеи для нас, а не для поляков, и мы сами употребляем их название неискренно. Здесь собственно нет речи о России, а речь о самодержце русском, царе польском, конституционном вел. кн. финляндском. Это не идея, а аномалия. Нужна идея, которую мог бы усвоить себе хотя один поляк»^{300}.

Именно такую идею и пытался предложить Тютчев. На протяжении своей жизни поэт дважды наблюдал подавление Польского восстания, и его позиция определилась еще в 1831 году, после взятия восставшей Варшавы русскими войсками. Город был взят штурмом в день Бородинской битвы — 26 августа. Штурм города был кровопролитным и унес много жизней с той и с другой стороны. Общественное мнение Запада осуждало жестокость победителей и не скрывало своего сочувствия побежденным полякам. За три недели до Варшавского штурма, когда исход кампании еще не был ясен и когда Европа грозила России «анафемой» и интервенцией, Пушкин, болезненно переживавший вмешательство Запада во внутренние дела России и убежденный в необходимости быстрых, решительных и жестких мер по отношению к повстанцам («Но всё-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна»^{301}), в стихотворении с красноречивым названием «Клеветникам России» сформулировал вопросы, еще не

получившие в то время однозначные ответы.

Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос ^{302}.

Для Тютчева в то время подобных проблем просто не существовало. Свое политическое кредо Федор Иванович, тогда еще молодой дипломат, изложил в стихотворении, которое никогда не печаталось при его жизни. Это большое стихотворение было не просто непосредственным откликом на взятие Варшавы, в нем с предельной четкостью были изложены историософские взгляды нашего героя, которые впоследствии лишь уточнялись и детализировались в его политических сочинениях. Это стихотворение многое объясняет, потому есть смысл процитировать его целиком.

Как дочь родную на закланье
Агамемнон богам принес,
Прося попутных бурь дыханья
У негодующих небес, -
Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!
Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет! нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!
Другая мысль, другая вера
У русских билась в груди!
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья

Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещения
Единомысленных, как рать.
Сие-то высшее сознание
Вело наш доблестный народ —
Путей небесных оправдание
Он смело на себя берет.
Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете!
Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем ^{303}.

(1831 г.)

Для Российской империи польский вопрос был исключительно болезненным. Поколение современников Тютчева унаследовало его от своих предшественников, десятилетиями решало, да так и не смогло разрешить — и нерешенным передало потомкам. Любой ход приводил к патовой ситуации. С одной стороны, Российская империя не могла признать независимость Польши, ибо подавляющее большинство образованного населения расценило бы подобную уступку как несомненную слабость верховной власти и пролог грядущего распада Империи: все знали о существовании сильных внутренних центробежных тенденций в Прибалтике, Финляндии и на Украине. Практическая реализация этих тенденций привела бы к неизбежным территориальным спорам.

Летом 1863 года Франция, Австрия и Англия направили в Петербург ноты с требованием созвать конференцию для решения польского вопроса, что было прямым вмешательством во внутренние дела России. После поражения в Крымской войне власть не могла позволить себе ни малейших

проявлений мягкости и сговорчивости в международных вопросах. Согласиться с этими требованиями означало утратить статус великой державы. С другой стороны, подавление восстания было очень жестоким и сопровождалось массовыми казнями и ссылками восставших во внутренние губернии Империи. Людей здравомыслящих беспокоило, что ссылки могут стать мощным катализатором революционного брожения. Федор Иванович не изменил себе и нашел повод отпустить остроту и по поводу сосланных поляков: «Это яд, который мы принимаем внутрь, чтобы от него избавиться»^[304]. Правительство, борясь с повстанцами, не знало жалости и не проявляло сострадания, что очевидно противоречило принципам гуманности, уже получившим распространение в это время. Напряженность противостояния сторон была столь сильной, что любое снисхождение власти по отношению к мятежникам всеми было бы воспринято как ее бессилие. Тютчев считал польский вопрос «династическим роком» Романовых.

Тревожным летом 1863 года, когда полным ходом уже шла дипломатическая война между Российской империей и Европой, Тютчев появился в Москве. Правительство не исключало вероятность военного столкновения с европейской коалицией, и Федор Иванович должен был осуществить зондаж общественного мнения и установить личный контакт с издателями наиболее авторитетных московских газет. Ему предстояло стать «чем-то в роде официозного посредника между прессой и Министерством иностранных дел»^[305]. Хотя с самого начала наш герой скептически оценивал перспективы своей миссии, его приезд в Первопрестольную был санкционирован министром иностранных дел. Это был всего лишь один из многочисленных шагов, сделанных князем Александром Михайловичем Горчаковым и направленных на бескровное разрешение европейского конфликта. Войны против объединенных сил Англии, Франции и Австрии Россия бы не выдержала.

К счастью, на этот раз вооруженного конфликта действительно удалось избежать. Европейские державы ограничились дипломатическими демаршами, произошел обмен нотами, и в конечном итоге дипломатическая война была выиграна князем Горчаковым, которого с той поры как в России, так и в Европе признали великим дипломатом. (Воспользуюсь удобным случаем, чтобы заметить: за долгие годы личного знакомства отношение Федора Ивановича к князю Горчакову и к проводимой им политике не оставалось неизменным. Тютчев нередко зло подшучивал над всем известной склонностью Горчакова, непревзойденного стилиста и

оратора, к самолюбованию и называл его «Нарциссом собственной чернильницы». Салонные острооты Тютчева по поводу министра «доброжелатели» доводили до сведения адресата, но князь Александр Михайлович каждый раз оказывался выше светских сплетен. Всё это касалось лишь формы, однако между друзьями были расхождения и по сути. Нашего героя раздражало, что министр иностранных дел Российской империи не имел ясной и определенной программы деятельности и руководствовался всего лишь сиюминутными целями, встававшими перед ним в ходе текущей политики, — и тогда поэт уничижительно отзывался о «невероятной пустоте» князя. Но стоило «милейшему князю» в очередной раз удачно решить казавшуюся неразрешимой дипломатическую задачу и отстоять интересы Империи, как Тютчев публично с похвалой отзывался о своем «великом друге» и посвящал ему стихи.)

*

Это время непрекращающихся тревог пагубно отразилось на здоровье Тютчева. У него обострилась подагра. Приступ начался еще в конце весны 1863 года, в Петербурге, и продолжался более месяца. Федор Иванович оказался в городе совершенно один, вся его семья разъехалась кто куда. За больным ухаживала Елена Александровна Денисьева. Когда Тютчев отправился в Москву, она поехала вместе с ним. Дарья Ивановна Сушкова, сестра поэта, с нескрываемым раздражением писала племяннице Китти:

12/24 июля. «Дядя Николай побывал у твоего отца (который сегодня у нас обедал), однако я к Федору не поеду, поскольку известная особа сохраняет место, ею захваченное. Николай ее видел, но не говорит об этом ни слова, хотя создавшееся положение раздражает и сердит его»^{306}.

15/27 июля. «Какое было бы счастье, если бы он смог прекратить этот ужасный образ жизни. Дай Бог, чтобы известная особа осуществила свое намерение уехать!»^{307}

17/29 июля. «Федор получил наконец письмо от жены и оставил его у бабушки в ящике ее бюро. Ведь это у нее он обычно пишет Эрнестине, а я отправляю его письма в Овстуг; здесь же ее письма дожидаются его появления, и каждый раз, уходя, он отдает их мне. Бедный брат, по-видимому, он полностью подчинился этой особе, которой должно было бы жить в смирении и покаянии вместо того, чтобы распоряжаться чужим супругом. Все это возмущает меня сверх меры»^{308}.

Примечательно, что негодование Дарьи Ивановны Сушковой было вызвано поведением Елены Александровны, но никак не поведением Федора Ивановича. У Сушковой никогда не было сострадания по отношению к безнадежно потерянной для «приличного» общества Денисьевой, но родной брат постоянно вызывал у нее сожаление и сочувствие.

Тютчев пробыл в Москве около двух месяцев, постоянно обещал Эрнестине Федоровне приехать в Овстуг, да так и не приехал и в конце лета вернулся в Петербург. Частная жизнь нашего героя шла своим чередом. Его связь с Лелей продолжалась уже 14 лет, и конца ей не предвиделось. В любовном треугольнике не было никаких изменений. Старшая дочь поэта Анна писала сестре Китти в Москву: «Я почти совсем не вижу папа. У меня он не бывает, а когда я прихожу обедать к мама, его никогда там нет. На свете нет другого семейства, столь же распущенного, как наше»^[309]. 22 мая 1864 года у Федора Ивановича и Елены Александровны родился третий ребенок — сын Николай. Накануне Эрнестина Федоровна с дочерью Марией уехала на воды в Германию. Тютчев очень хотел поехать за границу, но этому помешала последовавшая за родами тяжелая болезнь Денисьевой. Он был исполнен столь сильного смятения, что даже не посчитал нужным скрыть свои чувства от Китти, приехавшей из Москвы в Петербург. Болезнь развивалась стремительно, и 4 августа Елена Александровна скончалась. Федор Иванович был раздавлен. Он писал родственнику ушедшей:

«Все кончено — вчера мы ее хоронили...

Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу—не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти — не предвижу облегчения. Ах, она мне нужна на земле, не там где-то...

Сердце пусто — мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно — невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?...»^[310]

У Тютчева не было сил не только писать, но и жить. Ему казалось, что жизнь кончена и осталось только жалкое физическое существование. Он испытал запоздалое раскаяние и ощутил невозможность искупить собственные ошибочные или дурные поступки. Им всецело овладело

чувство вины перед Лелей. По словам старшей дочери, сам он постарел на 15 лет, а тело его превратилось в скелет. Анне даже показалось, что отцу недолго осталось жить. «Он был в состоянии близком к помешательству. Какие дни нравственной пытки я пережила! Потом я встретила с ним снова в Ницце, когда он был менее возбужден, но все еще повергнут в ту же мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему бы то ни было небесному. Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, все увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям религии и доводило его, по природе нежного, справедливого, до раздражения, колкостей и несправедливости в отношении к его жене и ко всем нам. Я увидела, что моя младшая сестра, которая теперь при нем, ужасно страдала. Сколько воспоминаний и тяжелых впечатлений прошлого воскресло во мне. Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растрчена в земной и незаконной страсти»^{311}. Федор Иванович искал утешения, где только мог, но не находил его — и тогда поэт, к нескрываемой радости его дочерей, обратился к религии. Он решил говеть: стал готовиться к исповеди и причастию, постясь и посещая церковь, чего не делал более четверти века. «Отец причастился Св. Тайн, и это большое благо. Он раз писал ко мне, хотя очень грустное письмо, но он тут первый раз говорит о потребности души его молиться, и искать будущей, вечной жизни»^{312}.

Его семья отнеслась к этому горю с поразительной человечностью. Все сплотились воедино и стали думать о том, как помочь отцу и мужу преодолеть душевные страдания. Надо было договориться и о дальнейшей судьбе внебрачных детей Федора Ивановича. Семья не стала уstraняться от решения этой болезненной проблемы. Дарья Ивановна Сушкова написала Китти: «Я верю его раскаянию, его отчаянию, но при этом я, увы, убеждена, что он же первый будет пренебрегать этими тремя детьми, забывая о них. У него ум тонкий, сердце впечатлительное, но склонное к заблуждениям. Он пленит тебя своим красноречием, тебя и твоих сестер, которые действительно добры, — вы примете на себя любые обязательства»^{313}.

Речь шла не только о материальных обязательствах, хотя обучение и воспитание троих детей было само по себе делом недешевым. Семью беспокоила нравственная ответственность за будущее детей, которые не имели никаких юридических прав ни на долю в родовом имуществе

Тютчевых, ни на принадлежность к дворянскому сословию. Детям предстояла суровая жизненная борьба, и воспитание должно было к ней подготовить. Для предстоящей им жизни светский лоск был излишней роскошью. Так считали родные Федора Ивановича, убежденные в том, что именно тяга к светской жизни и тщеславие погубили Елену Денисьеву. Вот почему они хотели поместить четырнадцатилетнюю Лёлю-маленькую на полный пансион в добропорядочную мещанскую немецкую семью: такое воспитание приучило бы девочку к порядку и экономии; «при ее приданом она с Божьей помощью вышла бы замуж в той же среде, где, вероятно, легче обрести счастье»^[314], — полагала Сушкова.

К сожалению, осуществиться этим разумным планам не было суждено. Дочь Тютчева и Денисьевой Елена была помещена в великосветский пансион госпожи Труба в Петербурге. Этот аристократический пансион находился под покровительством благоволившей к поэту великой княгини Елены Павловны, знавшей о незаконном происхождении девочки. Не исключено, что именно великая княгиня платила за ее обучение. Вот почему хозяйка пансиона допустила девочку в узкий круг своих восьми воспитанниц из высшего общества.

Сама Лёля-маленькая ничего не знала о своем незаконном происхождении и считала себя дочерью камергера Тютчева. Она носила траур. Это заметила одна великосветская дама, княгиня Софии Гагарина, мать ее близкой подруги, и поинтересовалась, по ком она носит траур. Услышав, что дочь камергера уже несколько месяцев носит траур по матери, дама искренне удивилась: совсем недавно она видела Эрнестину Федоровну живой и здоровой. Княгиня подробно расспросила девочку о ее родителях, прекрасно все поняла и отошла, не попрощавшись и уведя за руку свою дочь. Лёля была поражена и, вернувшись из пансиона домой к бабушке, стала настойчиво выспрашивать у Анны Дмитриевны Денисьевой то, что так долго от нее скрывали, и, «узнав всю правду, предалась чрезмерному горю, плакала и рыдала, проводила бессонные ночи и почти не принимала пищи, умоляла только о том, чтоб ее не посылали больше в пансион Труба. При таких условиях бывшая у нее в зародыше чахотка развилась с чрезвычайной быстротой и в начале мая 1865 г. ее не стало, а на другой день скончался от той же болезни и ее брат Коля, который незадолго пред тем вступил во второй год своей жизни»^[315].

Смерть девочки развязала запутанный узел серьезных проблем. При жизни Лёли-маленькой Китти по просьбе отца навестила ее в пансионе, а Анна, которая была воспитательницей дочери императора, посылала своей

сводной сестре подарки, причем делала это якобы от имени великой княжны. Эти поступки дочерям поэта казались вполне естественными, «такими же естественными, как казались бы немыслимыми до смерти этой бедной женщины»^{316}. После этого Лёля стала называть себя в пансионе сестрой двух фрейлин Тютчевых, Анны и Дарьи. Фрейлины были на виду, а расточаемые им милости вызывали нескрываемую зависть придворных.

Княгиня Гагарина посчитала нужным рассказать императору о своем знакомстве с девочкой и о ее честолюбивых притязаниях, и эта интрига увенчалась успехом. Александр II был крайне недоволен и в резкой форме выразил свое неудовольствие императрице. Мария Александровна была вынуждена потребовать от камергера Тютчева, чтобы до тех пор, пока Анна состоит при великой княжне, между ней и Лелей не было бы никаких отношений. Камергеру было официально заявлено, что подобные отношения ставят под угрозу придворную службу Анны. Анна была сильно удручена. «Я плачу свою часть долга за то немыслимое пренебрежение приличиями и стыдливостью, которое проявил папа: быть может, другие повинны в подобных вещах не менее, чем он, но никто не выставляет этого на всеобщее обозрение. Чувство стыда стало для меня привычным ощущением»^{317}.

Старшая дочь поэта давно уже с трудом переносила душную придворную атмосферу и испытывала желание покинуть двор. Летом 1865 года состоялась ее помолвка, которую она долго держала в тайне даже от родных: они не имели представления о решении дочери. Анна несколько раз откладывала объяснение с ними, и ее сокровенные записки объясняют причину столь необычного поведения.

«Вчера я провела день в Петербурге, потому что папа очень страдает от подагры и вынужден оставаться в постели, что приводит его в очень дурное настроение. Он сделал мне ряд колких замечаний о девицах, которые не выходят замуж, и о невыносимости и глупости моего существования при дворе. Тем не менее, я не испытываю ни малейшей потребности поделиться с ним тем, что сейчас занимает меня. Наоборот, мне неприятно думать о минуте, когда я должна буду сказать ему об этом. Сперва он будет очень рад, потому что ему хочется видеть меня замужем и он очень досадует, что я столько лет запряжена в однообразное, тусклое, исполненное тяжелого труда существование. Но как только минет первая минута удовлетворения, он захочет применить к Аксакову и ко мне, к нашим взаимным чувствам, к нашим характерам, к нашим планам на будущее скальпель своего анализа, всегда тонкого и остроумного, но

чрезвычайно тлетворного, потому что анализ этот зиждется на принципе исключительно человеческом, скептическом и негативном. О том, что составляет основу наших чувств и наших отношений, я никогда не смогу и не захочу ему сказать, так как он этому не поверил бы и не понял бы этого. В браке он видит только страсть и не допускает ничего, кроме страсти, и признает его приемлемость лишь пока страсть существует. Никогда он не признал бы, что можно поставить выше личного чувства долг и ответственность перед Богом в отношении мужа к жене и жены к мужу и что понятый таким образом брак освящен и способствует нравственному возвышению. Я никогда не могу говорить о своем сокровенном с отцом, и потому, несмотря на привязанность его ко мне и мою к нему, несмотря на все хорошее, что я признаю в нем, я чувствую себя так глубоко и непоправимо чуждой ему»^{318}.

В конце 1865 года Анна приняла решение выйти замуж, что автоматически вынуждало ее покинуть службу. «Двор ей стал невыносим...»^{319} — по словам графа Шереметева. В январе 1866 года Анна Федоровна Тютчева в возрасте тридцати шести лет стала женой известного славянофила, публициста и поэта Ивана Сергеевича Аксакова, с огромным облегчением рассталась с Петербургом и переехала в Москву. Это был союз единомышленников. Анна Федоровна не просто разделяла воззрения своего мужа, а давно уже имела репутацию воинствующей славянофилки.

Весьма характерна реакция Льва Николаевича Толстого на сообщение о предстоящей свадьбе: «Как их будут венчать? и где? В скиту? в Грановитой палате или в Софийском соборе в Царьграде? Прежде венчания они должны будут трижды надеть мурмолку и, протянув руки на сочинения Хомякова, при всех депутатах от славянских земель произнести клятву на славянском языке»^{320}.

Федор Иванович очень хорошо относился к своему зятю, но и на сей раз остался верен себе и отпустил шутку в письме жене по поводу столь позднего замужества дочери. Свадебный убор невесты был украшен флердоранжем — белыми цветами померанцевого дерева, символом невинности: «...в волосах у нее уже была веточка флердоранжа, столь медлившего распуститься...»^{321}.

Анна Федоровна ощущала себя подлинной главой большой семьи, и очень часто именно ее голос оказывался решающим. Ровно за год до своего собственного замужества она помогла устроить судьбу своей самой младшей сестры Марии. В конце осени 1864 года почти все семейство

Тютчевых находилось в Ницце. Этот небольшой средиземноморский городок благодаря обилию русских путешественников на глазах превращался в модный курорт, который посещала даже царская фамилия. В связи с пребыванием царской семьи в Ницце там стояла на якоре русская эскадра. 18/30 ноября 1864 года камер-фрейлина императрицы графиня Антонина Дмитриевна Блудова представила Марии Тютчевой флотского офицера — флигель-адъютанта императора и командира фрегата «Олег» Николая Алексеевича Бирилева. Прошло меньше месяца. Накануне нового, 1865 года командующий эскадрой дал бал, после которого девушка объявила родителям о своем решении стать женой Бирилева.

Во время Крымской войны Бирилев в чине лейтенанта флота прославился своими десятью дерзкими вылазками в тыл врага и был тяжело контужен в голову. Он заслужил орден Святого Георгия 4-й степени и быстро дослужился до чина капитана первого ранга. О его решительном сватовстве, поддержанном самой императрицей, шутили: «Это его 11-я вылазка». Хотя Бирилев и стал флигель-адъютантом императора, в нем не было никакого светского лоска. Герой обороны Севастополя отличался добросердечием и бесхитростностью и говорил исключительно по-русски.

Окончившая Смольный институт Дарья Тютчева трактовала его как невоспитанное, необразованное, не умеющее держать себя в обществе дитя природы. Федор Иванович выражался еще более определенно и резко: «Что она нашла в нем? Он просто идиот — особенно к вечеру, — мозг его заметно потрясен контузией. Конечно, дочь моя любит его, но любит как дитя, за которым она должна ухаживать. Я не хотел этого брака, но впуталась императрица и дочь моя — Анна, — разумеется, из желания какого-то отвлеченного — помочь влюбленному герою, — тогда как всем это казалось просто непостижимым. Будет ли моя бедная Магу счастлива! Умственная несостоятельность Бирилева и жену мою сокрушает»^{322}.

Родители и сестра Дарья устраивали Марии после ее помолвки самые настоящие сцены, но старшая сестра решительно приняла ее сторону — и только проявленная Анной твердость помогла состояться этой свадьбе. Бьющая в глаза простота бравого моряка оскорбляла аристократизм Тютчевых. По словам Анны, «они оба — мама в особенности — глубоко уязвлены в своем светском тщеславии и утверждают, что он дурак, что Мари покроет себя стыдом, решившись на это замужество. В самом деле, его нельзя назвать умным человеком в нашем представлении, однако, когда он находится в своей среде, когда его ничто не стесняет, он совсем не таков, каким видят его папа и мама»^{323}. Прошло менее полутора лет, и жизнь все

расставила по своим местам. В мае 1866 года Мария Федоровна Бирилева написала в своем дневнике печальные строки: «Мама была права, права, права!»^{324}

Федор Иванович, в отчаянии покинувший Петербург в августе 1864 года, через несколько дней после похорон Денисьевой, пробыл за границей более семи месяцев. Эрнестина Федоровна встретила Любимчика с пылкой нежностью, но ожидаемого сближения не произошло, и супруги даже за границей продолжали жить на два дома. Только 3/15 марта 1865 года Тютчевы уехали из Ниццы. Хотя начальство всегда смотрело более чем снисходительно на ежегодные отлучки председателя Комитета цензуры иностранной от своей должности, но на этот раз столь продолжительное отсутствие едва не стоило ему потери места.

Дело в том, что в это время в Петербурге предпринималась очередная попытка преобразовать цензуру. Интересы руководимого им ведомства требовали, чтобы действительный статский советник Тютчев находился на своем месте. Но Федор Иванович и в этой критической для его карьеры ситуации не изменил себе и не стал торопиться с возвращением в столицу. Он десять дней провел в Париже, где дважды встречался с Александром Ивановичем Герценом. Председатель Комитета цензуры иностранной искушал судьбу: за личные контакты с политическим эмигрантом, книги которого были строжайше запрещены в России, можно было поплатиться не только отставкой, но и ссылкой в Овстуг. Судьба не поддавалась искушению, предложенному ей гениальным поэтом, и Федор Иванович сохранил свой пост. Более того, 30 августа/11 сентября 1865 года Тютчев был пожалован чином тайного советника (III класс Табели о рангах соответствовал чину генерал-лейтенанта).

Этот чин стал высшей точкой его карьеры: должность председателя Комитета цензуры иностранной не позволяла ее обладателю удостоиться более высокого чина. Не приходилось ему рассчитывать в будущем и на награждение новыми орденами в дополнение к уже имевшимся. Он получил всё, что только можно было получить на этой должности. Тайный советник наслаждался своей независимостью и не желал интриговать ради обретения высокого дипломатического поста за границей. Не хотел он унижать себя и просьбами о прибавке жалованья. Его подлинным служебным поприщем были светские салоны и гостиные. Ум и перо — предметом всеобщей зависти. Очарование «божественного старца» никого и никогда не оставляло равнодушным и заставляло забывать о его непрезентабельной внешности неопрятного старика.

И только импульсивный публицист, желчный и несдержанный князь

Петр Владимирович Долгоруков, едва ли не единственный прижизненный недоброжелатель Тютчева, не побоялся нарисовать шаржированный портрет великого поэта:

«Кто в Петербурге не знает этого приятного собеседника, этого добродушного остряка; кто не видел его, идущего с полунаклоненной набок головою — головою, исполненной поэтических фантазий, но вместе с тем и ненависти к гребню и прическе; с вечным выражением скуки на лице; с длинными седыми волосами, которые, истинное подобие его слабого характера, развеваются в сторону, куда ветер дует; в длинном галстуке и в полузастегнутом фраке, назначенных скрывать от дурного людского глаза рубашку заслуженную и ветхую деньми: кто в Петербурге не видел Федора Ивановича? Но тем, которые хорошо знают этого добрейшего и честного человека, тем хорошо известна чрезмерная слабость его характера. Есть люди, которые устоят против искушений денежных, люди неподкупные, но которыми можно завладеть вежливостью, ласками, лестью и, в особенности, ежедневным собеседничеством. Федор Иванович принадлежит к числу этих людей, не способных ни на какую борьбу, людей, которых купить нельзя, а приобрести можно. Мы на своей, уже полувековой, жизни много встречали таких личностей, но редко видели человека, столь сильно подверженного влиянию окружающей его среды, каков Федор Иванович. И нигде личности этого рода не совершают столь быстрого падения, как в правлении самодержавном: добрые качества таких людей стушевываются под зловредным влиянием двора самодержавного»^{325}.

*

Продолжительное пребывание за границей и замужество двух дочерей — все это вызвало значительные траты и не могло не сказаться на имущественном положении Тютчевых. Имение, столь долгое время находившееся без хозяйского присмотра, постепенно приходило в упадок. Управляющим в Овстуге был Василий Кузьмич Стрелков. Его отец принадлежал к числу тютчевских дворовых еще в селе Троицком под Москвой, которым ранее владела душегубица Салтычиха. Молва называла Василия Кузьмича незаконным сыном Ивана Николаевича Тютчева, отца поэта. Стрелков, считавшийся воспитанником Ивана Николаевича, получил благодаря попечению барина не только недоступное крестьянскому мальчику образование, но и вольную, после чего стал управлять брянским

имением. Тютчевы относились к нему с полным доверием и полагали хорошим, честным и преданным человеком. Однако крестьяне ли в Овстуге слишком много пили или недостаточно усердно работали на барщине, климат ли мешал или экономическая конъюнктура в Брянском уезде была неблагоприятной, только почему-то дела в имении шли с каждым годом все хуже и хуже, и постоянно простаивал построенный еще при Иване Николаевиче сахарный завод. А у самого Василия Кузьмича скопился тем временем небольшой капитал, и стал Стрелков брянским купцом третьей гильдии и землевладельцем.

Желая повысить доходность имения, Тютчев, после десятилетнего перерыва, решился на поездку в Овстуг и в конце лета 1865 года привез с собой специалиста по сахарному производству, который с большим непотребством отзывался как о самом Василии Кузьмиче, так и о его злоупотреблениях. Стрелков был смещен и покинул Овстуг. Дом его был перестроен и заново отделан, и Мария Федоровна Бирилева открыла в нем училище для крестьянских детей^{326}. Сахарный завод, обновление и перестройка которого заставили Тютчевых влезть в долги, они застраховали на сумму в 30 тысяч рублей серебром и сдали в аренду известному сахарозаводчику Мальцеву за 3500 рублей серебром в год. Это было, как они считали, не очень выгодно, зато спокойно^{327}.

Приближалась старость, и покой был необходим как Эрнестине Федоровне, так и Федору Ивановичу. Здоровье нашего героя оставляло желать лучшего. Приступы подагры происходили с удручающей регулярностью и с каждым разом продолжались все дольше и дольше. Тютчев едва волочил ноги. Тоска по Лёле оставалась неизбывной. Сердечная рана не заживала. В первые месяцы после смерти Елены Александровны поэт не мог, да и не считал нужным скрывать от окружающих свои переживания. Он демонстративно опубликовал в февральской книжке «Русского Вестника» за 1865 год несколько стихотворений, посвященных памяти своей возлюбленной, что вызвало нескрываемое раздражение его родных. Со временем Федор Иванович научился скрывать свои чувства. Казалось, что после возвращения в столь милый ему Петербург «он распростился со своей великой печалью и снова доволен жизнью»^{328}, — как полагала дочь. Он по-прежнему ежедневно выезжал в свет, блуждал из салона в салон и очаровывал петербургских дам, старых и молодых. Но это была всего лишь видимость. 23 ноября 1865 года, в день своего рождения, поэт написал стихотворение, которое не было напечатано при его жизни.

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем...[{329}](#)

Врачи настоятельно рекомендовали ему поехать на воды — Тютчев твердо решил не уезжать из России и, едва ли не впервые в жизни, отказался поехать за границу. «Вот уже скоро два месяца, что я занемог, и до сих пор не хожу, а волочу ноги. <...> Было время, года четыре тому назад, что отправился бы лечиться хоть на край света, но тогда я был не один — и для меня не было даже и возможности одиночества...»[{330}](#) — писал он брату Николаю.

*

Однако политические новости продолжали занимать Тютчева с прежней силой. Запад на какое-то время ему опротивел, и только вопрос о политическом и национальном возрождении восточных славян волновал его ум и воодушевлял его лиру. «...Мой муж не может более жить вне России; главное устремление его ума и главная страсть его души — повседневное наблюдение за развитием умственной деятельности, которая разворачивается на его родине, — отмечала Эрнестина Федоровна. — В самом деле, деятельность эта такова, что может всецело завладеть вниманием пылкого патриота»[{331}](#). Поэт оставался убежденным сторонником славянского всеединства под эгидой России. Он полагал, что славяне не должны видеть в России только внешнего союзника. По его мнению, их следовало убедить в том, что все славянские народы без исключения составляют органическое целое с Россией: они всего лишь составные части единого живого организма. Для этого представился удачный повод. 23 апреля 1867 года в Москве в здании Манежа состоялось торжественное открытие Этнографической выставки, которая была посвящена традиционной культуре народов Российской империи и славян, живущих в пределах других стран: Австрийской империи, Прусского королевства, Саксонии, Оттоманской Порты, Черногории, Сербского княжества. В мае на эту выставку прибыли многочисленные славянские делегации, но поляки на выставку демонстративно не были приглашены. В

стихотворении «Славянам», написанном Тютчевым по этому поводу, поляки были названы «Иудой» и «позором» в дружной славянской семье. Выставка стала поводом для «сходки Всеславянской», на которую Тютчев и славянофилы возлагали большие надежды.

Мы ждем и верим Провиденью —
Ему известны день и час...^{332}

Однако Славянский съезд стал всего лишь поводом для празднеств и банкетов в честь прибывших гостей.

Грядущее возрождение восточных славян и последующее объединение всех славянских народов плохо совмещались с существованием Австрийской империи Габсбургов — и Тютчев проповедовал ее неизбежный распад в будущем. Действительно, во внешней политике империя Габсбургов потерпела ряд неудач, проиграв войны с Сардинским королевством и Францией в 1859 году, с Пруссией и Италией в 1866 году, что привело в конце следующего года к образованию Австро-Венгрии — дуалистической монархии, в которой Венгрия имела автономные права. Тютчев полагал, что это преобразование не спасет страну от неминуемого исчезновения с политической карты, ибо у Австрии ее ахиллесова пята находится повсюду «Австрия развалится и, как повешенный на дереве, будет задушена своей собственной политикой»^{333}. До последнего дня своей жизни он так и не смог простить Австрии ее лицемерной политики во время Крымской войны и считал, что Россия должна поддерживать национально-освободительное движение славянских подданных Австро-Венгрии. Брат Эрнестины Федоровны барон фон Пфеффель славянофилам не сочувствовал и не скрывал своего беспокойства по поводу пророчеств глубокоуважаемого им Федора Ивановича: «Боюсь, дорогие друзья, что движение, которое поддерживает своим талантом ваш муж и отец, споспешествует прежде всего революции и может повлечь за собой волнения, опасные не только для Австрии, но и для всеобщего мира. Разве мало у нас в Европе уже сейчас поводов для потрясений, разве мало воспламеняющегося материала, чтобы была надобность подбрасывать в него еще и эти пылающие головни?»^{334}

Бег времени продолжался, в избытке появлялись новые поводы для социальных и политических потрясений — и настоящее мучительно тревожило нашего героя. За два дня до начала Франко-прусской войны 1870 года Тютчев выехал из Петербурга в Карлсбад на лечение и, к счастью,

успел проехать через Пруссию до официального введения различного рода ограничений для иностранных путешественников. «Война объявлена, — писал Тютчев жене 6/18 июля 1870 года из Варшавы. — Можно сказать, что это начало конца света»^{335}. Он полагал, что поражение Франции неминуемо. Эта страна станет жертвой прогнившей современной цивилизации. Франция заслужила свое падение «глубоким внутренним разложением нравственного чувства»^{336}. Однако методическая жестокость победителей, ужасающая «правильность» избиений и грабежей, угроза бомбардировки Парижа — всё это потрясло поэта. «Это гунны, ходившие в школу» — так сказал он о пруссаках^{337}.

Федор Иванович предвидел, что неизбежное поражение Франции логически приведет к объединению Германии под верховенством Пруссии. Возникновение единой и сильной Германии станет угрозой для России. В письме дочери Анне Тютчев высказал прогноз, который показался ей фантастическим: Германская империя «в итоге неизбежно обратится против нас и навлечет на нашу бедную страну несчастья, более ужасные, чем те, которые ныне поразили Францию»^{338}. История подтвердила справедливость этих слов.

Ужасные несчастья угрожали России не только извне. 4 апреля 1866 года мелкопоместный дворянин Д. В. Каракозов — при свете дня и на глазах у огромной толпы — совершил неудачное покушение на Александра II, который прогуливался у решетки Летнего сада. Федор Иванович был потрясен, свои чувства выразил в стихах, которые, однако, не посчитал нужным напечатать.

Всё этим выстрелом, всё в нас оскорблено,
И оскорблению как будто нет исхода:
Легло, увы, легло позорное пятно
На всю историю российского народа!^{339}
(«Так! Он спасен! Иначе быть не может!...»)

Уже тогда поэт понял, что это было всего лишь первое предупреждение, данное власти. За ним неизбежно должны были последовать следующие.

Первого июля 1871 года в Петербурге начался судебный процесс над участниками студенческих волнений и членами общества «Народная расправа», основанного в 1869 году Сергеем Геннадиевичем Нечаевым.

Этот революционер-анархист исповедовал принцип «цель оправдывает средства» и сознательно применял методы мистификации и провокации. В своем «Катехизисе революционера» он проповедовал разрыв участников революционного движения с законами, приличиями и нравственностью существующего мира. Эти аморальные методы вызвали протест члена организации студента Иванова, и тогда Нечаев организовал его убийство и скрылся за границу. Обвинение было выдвинуто против 77 человек, но самого Нечаева на скамье подсудимых не было.

Тайный советник Тютчев внимательно следил за процессом, аккуратно посещал все судебные заседания и в письме дочери выразил свое отношение к процессу и новой системе судопроизводства. «Первая часть процесса только что закончилась, и... вынесенный приговор должен казаться справедливым. Я был поистине восхищен талантом некоторых адвокатов. <...> Право, поразительно, как эти новые судебные установления быстро привились у нас. Вот где могучий зародыш новой России и лучшее ручательство ее будущности. Что касается самой сути процесса, то она возбуждает целый мир тяжелых мыслей и чувств. Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм?»^{[340]. [27]}

Для Тютчева были очевидны отрицательные ответы на все эти риторические вопросы. И он опасался, что новая, пореформенная Россия не имеет в запасе достаточного времени, чтобы укрепиться перед лицом неизбежного в будущем нового революционного натиска. Власть уповала только на репрессивные меры, собственные материальные силы казались ей неисчерпаемыми, и это обстоятельство создавало, по мнению Тютчева, ошибочное ощущение безопасности. «Если власть за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, она тем самым превращается в самого ужасного пособника отрицания и революционного ниспровержения, но она начинает это осознавать только тогда, когда зло уже непоправимо»^[341].

*

Впрочем, достаточные поводы для потрясений можно было найти не

только в сфере практической политики. Частная жизнь нашего героя шла своим чередом и по-прежнему была далека от безмятежности. Федор Иванович начал оказывать знаки внимания Елене Карловне Богдановой, даме постбальзаковского возраста, пережившей двоих мужей (один из которых запутался в денежных махинациях и покончил жизнь самоубийством). Исследователи не скрывают своего недоумения по поводу характера этих отношений. Дошедшие до нас тютчевские письма, адресованные этой даме, не позволяют однозначно ответить на вопрос о том, что именно связывало Федора Ивановича с Еленой Карловной, помимо общих воспоминаний о покойной Лёле, чьей подругой была госпожа Богданова. «Что это — подлинное зарево нового пожара, или зарницы недавно пробушевавшей и еще не совсем умолкнувшей грозы, роковое наследие незаконной страсти, естественный и неизбежный мост от той, ушедшей, к этой, оставшейся, бывшей связанной с покойной узами дружбы и через нее сделавшейся известной и близкой осиротевшему старцу? Последняя вспышка темперамента на пороге вечного успокоения, или “боготворение” поэта, не требующее разделения, но жизнь без которого для него невозможна? Любовь это, или простая дружба? Или всё вместе?..»^{342}

Тютчев постоянно стремился продемонстрировать даме свою приязнь: предлагал испытывавшей материальные затруднения женщине собственную карету, считал возможным послать ей бутылку свежих сливок и фунт масла, сопроводив этот прагматичный дар остроумной запиской. (Следует знать, что с хорошими молочными продуктами в Петербурге дело обстояло из рук вон плохо: хранить их не умели; и даже в приличных домах сливочное масло нередко оказывалось затхлым, а сливки прокисшими.) Назойливая заботливость пожилого и часто болевшего мужчины не смущала вдову. Она охотно принимала все эти дары и зачастую помыкала дарителем, демонстрируя свою женскую власть над ним. Если многолетний роман Тютчева с Денисьевой вызывал у родных поэта легко объяснимое чувство глубокой печали, то его непонятные отношения с Богдановой служили для них источником нескрываемого раздражения. Но отцу и мужу и на сей раз все прощалось — столь велико было его обаяние: «Папа уехал в субботу. Он великолепно выглядит, находится в прекраснейшем настроении, я его уже давно таким не видала и теперь, когда очарование его визита миновало, чувствую огромную пустоту, ибо он в самом деле очарователен!»^{343}

Как всегда, наш герой абсолютно не интересовался мнением родных и

не считал нужным принимать его во внимание. Более того, он полагал уместным посвящать Елену Карловну в интимные подробности жизни своих близких, будь то тяжелые и неудачные роды Анны или женитьба сына Ивана. «Все прошло, как следует. Невеста, даже и в этот момент, увы, не смогла стать красивой, но она очень хорошо держалась. После церемонии все присутствующие перебрались к Сушковым, где выпили за здоровье новобрачных, а вечером, в шесть часов, Китти и я поехали проводить их на железнодорожный вокзал, с которого эти счастливицы данной минуты отправлялись, на расстоянии часа с четвертью от города, получить окончательное обладание друг другом»^{344}.

Браки, заключенные его сыновьями, вызвали у Тютчева нескрываемое разочарование и служили ему поводом для едких острот. «Несомненно, странно видеть в молодых людях это глубочайшее равнодушие к внешним прелестям у женщин, на которых они собираются жениться; но, в конце концов, это их дело, и я не считаю себя вправе навязывать им поклонение Красоте, как не считал себя вправе препятствовать им поститься, если бы таково было их желание»^{345}. 14 июня 1868 года старший сын поэта Дмитрий венчался с Ольгой Александровной Мельниковой, которая была на 11 лет старше его. «Предстоящий брак, конечно, довольно своеобразен. Точно ребенок, который из любви к своей доброй няне вдруг бы женился на ней»^{346}.

Дмитрий был болезненным юношей и еще при жизни отца, 11 июля 1870 года, скончался в Петербурге. Ольга Александровна пережила его на 43 года. Младший сын Иван успешно окончил Училище правоведения, долгое время был мировым судьей в Дмитровском уезде Московской губернии, имел завидную репутацию человека без страха и упрека и в 1907 году стал членом Государственного совета. Сын Тютчева и Елены Денисьевой Федор, воспитывавшийся в семье своей сводной сестры Анны Аксаковой, как незаконнорожденный не имел прав потомственного дворянина, значился в мещанском сословии и всего в жизни добился сам. Он стал офицером, 35 лет прослужил в Корпусе пограничной стражи, получил известность как беллетрист и в 1903 году, в 30-летнюю годовщину со дня смерти поэта, опубликовал материалы к биографии своего отца, в которых впервые поведал читателям о романе Тютчева с Денисьевой. В 1916 году, во время Первой мировой войны, полковник и кавалер многих орденов Федор Федорович Тютчев умер от ран.

Всех Тютчевых тревожили печальные жизненные обстоятельства Марии Федоровны. Она никогда не жаловалась на свою судьбу, но все

видели, как тяжело дается ей это видимое спокойствие. Надежда на то, что семейная жизнь поможет капитану первого ранга Бирилеву излечиться от последствий контузии в голову, оказалась тщетной. Болезнь прогрессировала с каждым годом. Однажды в течение 55 часов у него было 25 припадков. «...На бедную Мари больно смотреть. Она исхудала, измождена, кашляет, и все ее существо исполнено мрачным унынием, хотя ни на словах, ни в каких-либо внешних проявлениях оно не выражается. <...> Бирилев очень потолстел, а слабоумие его еще усилилось. В последние дни я была всецело занята ими, и меня больно поразила царящая в этой семье атмосфера, в которой нет ни радости, ни спокойствия»^{347}, — писала Екатерина Тютчева сестре Дарье. Несколько лет такой жизни подорвали и без того слабое здоровье Марии Федоровны. У нее развился туберкулез. Не помогло лечение ни у знаменитого доктора Боткина, ни на липецких водах, ни на баварском курорте Рейхен-халле, где 2/14 июня 1872 года Мария Федоровна скончалась. Николай Алексеевич Бирилев, получивший при отставке чин контр-адмирала, пережил жену на десять лет и умер в 1882 году, окончательно потеряв разум.

После кончины младшей дочери Федор Иванович сразу же очень сдал и с осени стал испытывать постоянные недомогания. Сильно болела голова, левая рука перестала ему повиноваться, и Тютчев ронял взятые ею предметы, ему стало трудно читать. Поэт, всегда довольно легкомысленно относившийся к своему здоровью, был сильно напуган. Обострение болезней пришлось на вторую годовщину со дня смерти брата, которая, как и смерть отца, случилась на семидесятом году жизни. Это роковое совпадение сильно тревожило Федора Ивановича, только что вступившего в семидесятый год своей жизни. Какое-то время он по-прежнему выезжал в свет и на недоуменные вопросы знакомых по поводу своей болезни отвечал: «О, это ничего не значит, я бы умер, если бы еще не выезжал постоянно»^{348}.

Утром 1 января 1873 года с Тютчевым случился удар. У него парализовало левую сторону и была нарушена речь. Прямо из дворца по поручению императрицы к больному приехал лейб-медик Сергей Петрович Боткин. Доктор предупредил: приступ может повториться и за жизнь больного отвечать нельзя. Ему запретили говорить и рекомендовали стараться не думать, но его ясный и блестящий ум интересовался всем происходящим. Близкие читали больному газеты. В это время Российская империя активно продвигалась в Средней Азии, и Тютчев интересовался, как происходит Хивинский поход русской армии и каковы последние

политические новости. «Это ум, подобного которому нет на свете, — живое пламя, продолжающее ярко пылать на развалинах его тела, его хрупкой физической организации»^{349}. Но и тело продолжало бороться с недугом. Весной Федору Ивановичу стало немного лучше, и тогда врачи разрешили ему прогулки в карете. Тютчев заезжал за госпожой Богдановой и, к нескрываемому возмущению своих родных, в обществе этой дамы совершал выезды.

Император Александр II изъявил желание навестить своего камергера. Наш герой уклонился от царской милости и заметил с иронией, что августейший визит накладывает на него непременное обязательство отойти в лучший из миров на следующий же день после монаршего посещения^{350}.

В конце весны больного перевезли на дачу в Царское Село, где его удручали не столько физические, сколько нравственные страдания. Он не привык к столь продолжительному одиночеству, а начавшееся лето разбросало всех его друзей и знакомых. 26 мая Тютчев в обществе сиделки и слуги Силантия неожиданно покинул дачу и появился в Петербурге. Он приехал попрощаться с Еленой Карловной Богдановой, уезжавшей за границу, и через день вернулся в Царское Село.

Начались недели жестоких страданий. После одного продолжительного приступа Федора Ивановича сочли чуть ли не умершим и по телеграфу срочно вызвали из Петербурга его духовника. Через четыре часа приступ прошел, Тютчев заметно ожил. В эту минуту в комнату вошел духовник, чтобы напутствовать его к смерти. Поэт предварил его вопросом: «Какие подробности о взятии Хивы?»^{351}

Наступило тихое угасание — без страданий, без жалоб, без слез. Эрнестина Федоровна не отходила от мужа ни днем ни ночью и 15 июля 1873 года приняла его последний вздох. Она пережила его на два десятилетия, разобрала тютчевские рукописи, собрала его стихи, среди которых было немало неизданных, — всё это достаточно разборчиво переписала собственной рукой и осознанно увенчала свою жизнь подготовкой и изданием собрания сочинений Любимого.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

ПАМЯТИ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Ни у домашнего, простого камелька,
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной
Нам не забыть его, седого старика,
С улыбкой едкою, с душою благосклонной!
Ленивой поступью прошел он жизни путь,
Но мыслью обнял всё, что на пути заметил,
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть,
Он был как голубь чист и как младенец светел.
Искусства, знания, события наших дней —
Всё отклик верный в нем будило неизбежно,
И словом, брошенным на факты и людей,
Он клейма вечные накладывал небрежно...
Вы помните его в кругу его друзей?
Как мысли сыпались нежданные, живые,
Как забывали мы под звук его речей
И вечер длившийся, и годы прожитые!
В нем злобы не было. Когда ж он говорил,
Язвительно смеясь, над жизнью или веком,
То самый смех его нас с жизнью мирил,
А светлый лик его мирил нас с человеком!

Между 1873 и 1875

Алексей Апухтин

АФОРИЗМЫ И ОСТРОТЫ ФЕДОРА ТЮТЧЕВА

При Тютчеве как-то говорили о Китае, и кто-то изъявил желание посмотреть на этот край. «Что до меня, — сказал поэт, — я отнюдь не поклонник этой страны: мне постоянно кажется, что где-то я уже видел нечто подобное».

Князь В. П. Мещерский, издатель газеты «Гражданин», посвятил одну из своих бесчисленных и малограмотных статей «дурному влиянию среды». «Не ему бы дурно говорить о дурном влиянии среды, — сказал Тютчев, — он забывает, что его собственные среды заедают посетителей». Князь Мещерский принимал по средам.

*

Когда канцлер князь Горчаков сделал камер-юнкером Акинфьева (в жену которого был влюблен), Тютчев сказал: «Князь Горчаков походит на древних жрецов, которые золотили рога своих жертв».

*

Когда князь Горчаков прочел Тютчеву черновик депеши по поводу вмешательства иностранных кабинетов министров во время последнего Польского мятежа, Тютчев, находя ее недостаточно энергичной, сказал ему следующие слова: «Князь, благодаря тому, что вы говорите по-французски с Европой, вы начинаете мыслить, как француз».

*

Про русских дипломатов и иностранную их политику Тютчев отзывался так: «Вся наша иностранная политика подобна русскому языку, на котором говорят эти господа: это лишь перевод с французского».

*

Об императоре Николае I Тютчев как-то сказал: «По внешности — он великий человек».

*

Меткое слово Тютчева про Владимира Павловича Титова, человека

очень методичного: «Подумаешь, что Господь Бог поручил ему составить инвентарь мироздания».

*

Тютчев утверждал, что единственная заповедь, которой французы крепко держатся, есть третья: «Не приемли имени Господа Бога твоего всуе». Для большей верности они вовсе не произносят его.

*

Княгиня Трубецкая говорила без умолку по-французски при Тютчеве, и он сказал: «Полное злоупотребление иностранным языком; она никогда не посмела бы говорить столько глупостей по-русски».

*

Слабой стороной графа Д. Н. Блудова (председателя Государственного совета) был его характер, раздражительный и желчный. Известный остряк и поэт Ф. И. Тютчев говорил про него: «Надо сознаться, что граф Блудов образец христианина: никто так, как он, не следует заповеди о забвении обид... нанесенных им самим».

*

Про Муханова, товарища министра народного просвещения, Тютчев говорил: «Это бесспорно самый пустой из напыщенных людей».

*

Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев пишет жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины».

*

Про канцлера князя Горчакова Тютчев говорит: «Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. Сливки у него на дне, молоко на поверхности».

*

Однажды осенью, сообщая, что светский Петербург очень еще безлюден, Тютчев пишет: «Вернувшиеся из-за границы почти так же редки и малоосязаемы, как выходцы с того света, и, признаюсь, нельзя по совести обвинять тех, кто не возвращается, так как хотелось бы быть в их числе».

*

Некую госпожу Андриан Тютчев называет: «Неутомимая, но очень утомительная».

*

Описывая семейное счастье одного из своих родственников, Тютчев замечает: «Он слишком погрузился в негу своей семейной жизни и не может из нее выбраться. Он подобен мухе, увязшей в меду».

*

По поводу политического адреса Московской городской думы (1869 г.) он пишет: «Всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны стараниям высекать огонь из куска мыла...»

*

Некто, очень светский, был по службе своей близок к министру далеко

не светскому. Вследствие положения своего, обязан он был являться иногда на обеды и вечеринки его. «Что же он там делает?» — спрашивают Ф. И. Тютчева. «Ведет себя очень прилично, — отвечает он, — как маркиз-помещик в старых французских оперетках, когда случается попасть ему на деревенский праздник: он ко всем благоприветлив, каждому скажет любезное, ласковое слово, а там, при первом удобном случае, сделает пируэт и исчезает».

*

Во время предсмертной болезни поэта император Александр II, до тех пор никогда не бывавший у Тютчевых, пожелал навестить поэта. Когда об этом сказали Тютчеву, он заметил, что это приводит его в большое смущение, так как будет крайне не деликатно, если он не умрет на другой же день после царского посещения. Острота его дошла до императора, и запланированный визит не состоялся.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. И. ТЮТЧЕВА

1803, 23 ноября — в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии в семье дворянина Ивана Николаевича Тютчева и его жены Екатерины Львовны (урожденной Толстой) родился сын Федор.

1806, 5 июня — в Москве в семье Тютчевых родилась дочь Дарья.

1810, декабрь — в Москве Тютчевы приобретают дом в Армянском переулке, 11.

1812, 3 декабря — семья Тютчевых, находясь в эвакуации, присутствует на похоронах бабушки П. Д. Тютчевой в селе Знаменском Угличского уезда Ярославской губернии.

1813, ранняя весна — к Федору Тютчеву приглашен воспитателем поэт-переводчик С. Е. Раич.

1814, ноябрь — написано первое из дошедших до нас стихотворений поэта «Любезному папеньке!».

1815, конец декабря — написано стихотворение «На новый 1816 год».

1816, осень — Федор начинает посещать частный пансион А. Ф. Мерзлякова, а затем и его лекции в Московском университете на правах вольного слушателя в сопровождении С. Е. Раича.

1817, 28 октября — первая встреча с В. А. Жуковским, посетившим Тютчевых в Армянском переулке.

1818, 22 февраля — чтение стихотворения «Вельможа (Подражание Горацию)» на заседании Общества любителей российской словесности в присутствии В. А. Жуковского и В. Л. Пушкина.

30 марта — избрание Тютчева сотрудником Общества.

16 декабря — первое упоминание имени Тютчева в московской печати.

1819, 1 августа — первая публикация Тютчева в «Трудах» Общества любителей российской словесности (стихотворение «Послание Горация к Меценату»). Сентябрь — начало посещений кружка С.Е. Раича при училище колонновожатых.

6 ноября — решением правления Московского университета Тютчев зачислен в число «своекоштных» студентов словесного отделения Московского университета.

1820, 6 июля — чтение стихотворения «Урания» на торжественном годовом собрании Московского университета и награждение Тютчева похвальным листом «за отличные успехи и поведение в 1819—1820 учебном году».

1821, 8 октября — выпускной экзамен на звание действительного студента, дающее право быть зачисленным на государственную службу с первым классным чином по Табели о рангах; по итогам экзамена Тютчев представлен к степени кандидата словесных наук.

23 ноября — попечитель Московского учебного округа князь А. П. Оболенский утверждает Тютчева в «кандидатском достоинстве».

1822, 5 февраля — Тютчев приезжает в Петербург для поступления на службу; живет в доме генерала от инфантерии, генерал-адъютанта графа А. И. Остермана-Толстого на Английской набережной.

21 февраля — поступление на службу в Государственную коллегию иностранных дел в чине губернского секретаря (XII класс Табели о рангах). 13 мая — по ходатайству графа А. И. Остермана-Толстого Тютчев «причислен к миссии в Мюнхене сверх штата», то есть без жалованья.

11 июня — отъезд из Москвы в Мюнхен, в русскую дипломатическую миссию в Баварии на должность сверхштатного чиновника.

11/23 июля^[28] — Тютчев приезжает в Мюнхен. 1825, 31 мая/12 июня — в Петербурге пожалован званием камер-юнкера Двора Его Императорского Величества.

11 июня — Тютчев приезжает из Мюнхена в отпуск в Россию; останавливается в Москве в доме родителей. Начало декабря — приезд из Москвы в Петербург.

1826, январь — отъезд из Петербурга в Мюнхен.

29 марта/10 апреля — в Петербурге Тютчев пожалован чином коллежского секретаря (X класс Табели о рангах) со старшинством с 25 февраля 1825 года.

Конец июля / август — женитьба на Элеоноре Петерсон (урожденной графине Ботмер); венчание совершено в Париже по лютеранскому обряду.

1828, февраль/март — знакомство в Мюнхене с Гейне, перешедшее в дружбу.

17/29 апреля — в Петербурге получает назначение вторым секретарем дипломатической миссии в Мюнхене (первая штатная должность Тютчева, предусматривающая получение жалованья).

1829, 27 января /8 февраля — венчание Тютчева с Элеонорой Петерсон, по православному обряду, совершенное священником мюнхенской греческой церкви Григорием Каллиганисом.

21 апреля / 3 мая — в Мюнхене у Тютчевых родилась дочь Анна.

31 октября / 12 ноября — в Петербурге Тютчев произведен в чин титулярного советника (IX класс Табели о рангах) со старшинством с 25 февраля 1828 года.

1830, конец мая / начало октября — отпуск в Петербурге.

1833, середина февраля — знакомство Тютчева с баронессой Эрнестиной фон Дёрнберг на балу в Мюнхене.

21 июля / 2 августа — в Петербурге Тютчев пожалован чином коллежского асессора (VIII класс Табели о рангах) со старшинством с 25 февраля/8 марта 1832 года.

Конец августа — поездка с дипломатическим поручением в Грецию.

1834, 12/24 апреля — в Мюнхене у Тютчевых родилась дочь Дарья.

1835, 27 октября / 8 ноября — рождение у Тютчевых дочери Екатерины (Мюнхен).

31 декабря / 12 января 1836 — в Петербурге Тютчев пожалован званием камергера Двора Его Императорского Величества.

1836, апрель — в Мюнхене попытка Элеоноры Тютчевой покончить с собой.

11/23 сентября — в Петербурге Тютчев пожалован чином надворного советника (VII класс Табели о рангах) со старшинством с 31 декабря 1835 года/12 января 1836 года.

Сентябрь — ноябрь — в пушкинском «Современнике» (№ 3, 4) опубликовано 24 стихотворения Тютчева.

1837, май — начало августа — отпуск с семьей в Петербурге. *3/15 августа* — в Петербурге Тютчев назначен старшим (первым) секретарем

русской миссии в Турине (Королевство Сардиния) с жалованьем восемь тысяч рублей в год.

8 августа — отъезд из Петербурга к месту службы.

1838, 22 июля/3 августа — в Турине Тютчев аккредитован в качестве поверенного в делах при королевском дворе Сардинии, а также при дворе эрцгерцогини Пармской.

28 августа / 9 сентября — смерть Элеоноры Тютчевой в Турине.

1839, 17 / 29 июля — венчание Тютчева с Эрнестиной Дёрнберг (урожденной баронессой Пффефель) по православному обряду в Крестовоздвиженской церкви при русской миссии в Берне (Швейцария); жена Тютчева уплачивает его долги и берет на себя содержание его семьи.

29 июля / 10 августа — в Констанце (Великое герцогство Баденское) Тютчев венчается с Эрнестиной Дёрнберг по католическому обряду в церкви Госпитального при-хода (ныне церковь Святой Троицы).

1/13 октября — Тютчев отозван от должности старшего (первого) секретаря миссии в Турине.

22 декабря / 3 января 1840 — в Петербурге Тютчеву пожалован чин коллежского советника (VI класс Табели о рангах) со старшинством с 31 декабря 1838 года.

1840, 23 февраля / 6 марта — в Мюнхене у Тютчевых родилась дочь Мария.

1841, 14 / 26 июня — в Мюнхене у Тютчевых родился сын Дмитрий.

30 июня / 12 июля — в Петербурге Тютчева исключают из числа чиновников Министерства иностранных дел «за долговременным неприбытием из отпуска»; лишение придворного звания камергера.

1843, 26 июня / 8 июля — Тютчев и его старший брат Николай, отставной полковник Генерального штаба, приезжают в Москву и поселяются в одном доме с родителями. *11/23 августа* — Тютчев приезжает из Москвы в Петербург и останавливается в гостинице Демута; намеревается «упорядочить» свою отставку и получить заграничный паспорт.

Август — сентябрь — в Петербурге Тютчев знакомит шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа со своим проектом привлечения западноевропейских публицистов к пропаганде российских интересов в германской печати; Николай I благосклонно относится к этому проекту. *Сентябрь* — отъезд в Германию.

1844, 21 сентября / 3 октября — Тютчев и его семья прибывают в Петербургский порт на борту парохода «Николай».

1845, 16 марта — в Петербурге Тютчева зачисляют в ведомство

Министерства иностранных дел (пока без определенной должности, а следовательно, и без жалованья).

14 апреля — Тютчеву возвращено придворное звание камергера.

1846, 15 февраля — назначение Тютчева чиновником особых поручений при государственном канцлере графе К. В. Нессельроде с жалованьем 1500 рублей серебром в год.

23 апреля — в Овстуге кончина И. Н. Тютчева, отца поэта.

30 мая — в Петербурге у Тютчевых родился сын Иван.

Август — сентябрь — пребывание в Овстуге.

1847, июнь — сентябрь — поездка в Германию, Францию.

1848, 1 февраля — в Петербурге Тютчев назначен старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел с годовым окладом 2430 рублей 42 копейки.

5 мая — произведен в чин статского советника (V класс Табели о рангах).

1849, май — август — посещение Москвы и Овстуга.

1850, январь — выходит статья Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты» (журнал «Современник», № 1); большая часть статьи посвящена анализу стихотворений Тютчева. Впоследствии Некрасов сожалел о названии, которое дал своей статье, заметив: «Талант, как бриллиант, не может быть второстепенным».

15 июля — в Петербурге происходит сближение Тютчева с Е. А. Денисьевой.

4—9 августа — Тютчев с дочерью Анной и Е. А. Денисьевой совершает путешествие в Валаамский монастырь.

1851, 20 мая — в Петербурге родилась дочь Е. А. Денисьевой и Тютчева Елена.

1853, 13 июня — Тютчев выезжает за границу (везет в Берлин и Париж дипломатические депеши, извещающие о предстоящем занятии русскими войсками Дунайских княжеств — Молдавии и Валахии).

9/21 сентября — возвращается из-за границы в Петербург.

1854, март — появление в порядке приложения к журналу «Современник» (№ 3) сборника из 92 стихотворений Тютчева.

30 мая — в Петербурге дано цензурное разрешение на выпуск сборника «Стихотворения Ф. Тютчева», в котором было опубликовано 110 стихотворений.

1855, 24 ноября — встреча в Петербурге с Л. Н. Толстым, вернувшимся из Севастополя.

1856, август — присутствует на коронации Александра II в Москве.

1857, 7/19 апреля — в Петербурге Тютчев «за отличие» произведен в чин действительного статского советника (IV класс Табели о рангах).

26 декабря — избран в члены-корреспонденты Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности в Петербурге.

1858, 17/29 апреля — в Петербурге выходит Указ Александра II Правительствующему сенату о назначении Тютчева председателем Комитета цензуры иностранной с оставлением его в ведомстве Министерства иностранных дел с годовым окладом 3430 рублей.

8 октября — по представлению князя А. М. Горчакова Тютчеву, как чиновнику особых поручений при Особой канцелярии Министерства иностранных дел, помимо получаемого жалованья назначен годовой оклад в 1143 рубля 68 копеек серебром.

1859, 21 января — в Москве Тютчев избран почетным членом Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете.

1860, 1 января — Тютчев пожалован орденом Святого Владимира 3-й степени.

Июнь — ноябрь — Тютчев с Е. А. Денисьевой путешествуют в Германии, Швейцарии, Франции. Рождение у них сына Федора в Женеве 11/23 октября.

1861 — выход отдельного издания стихотворений Тютчева на немецком языке; награждение орденом Святого Станислава 1-й степени.

1862, сентябрь — поездка в Новгород на празднование 1000-летия России.

1863, 17/29 января — награждение Тютчева орденом Святой Анны 1-й степени.

1864, 22 мая — у Е. А. Денисьевой и Тютчева родился третий ребенок — сын Николай.

4 августа — смерть Е. А. Денисьевой, «последней любви» поэта.

1865, 30 августа /11 сентября — Тютчев пожалован чином тайного советника (III класс Табели о рангах, соответствовал чину генерал-лейтенанта).

1866, январь — присутствует на свадьбе дочери Анны и И. С. Аксакова в Москве.

1868, март — выход второго издания сборника стихотворений Тютчева.

1869, весна — лето — поездка в Москву, Курск, Киев, Овстуг.

1870, июль — август — лечение в Германии, Австрии.

8 декабря — в Москве умирает старший брат Н. И. Тютчев.

1871, август — последнее пребывание Тютчева в Овстуге.

1873, 15/27 июля — смерть Тютчева в Царском Селе «после четырех недель жестоких страданий».

18 июля — погребение Федора Ивановича Тютчева на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Ф. И. Тютчева

Тютчев Ф. И. Докладная записка императору Николаю I. 1845 г. // Новое литературное обозрение. 1992. № 1.

Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. / Изд. подг. К. В. Пигарев. М.: Наука, 1965 (Литературные памятники).

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. Н. Я. Берковского. Сост., подгот. текста примеч. А. А. Николаева. 3-е изд. Л.: Советский писатель. Ленингр. отделение, 1987 (Библиотека поэта. Большая серия).

Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1984.

Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М.: Книга и бизнес, 1999.

Федор Иванович Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову. 1866-1871 / Предисл. и примеч. Е. П. Казанович. Л.: Изд-во АН СССР, 1926.

Литература

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874.

Гусман Л. Ю. История несостоявшейся реформы: Проекты преобразования цензуры иностранных изданий в России (1861-1881 гг.). М.: Вузовская книга, 2001.

Казанович Е. П. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // Урания: Тютчевский альманах. 1803-1828. Л.: Прибой, 1928.

Кожин В. В. Тютчев. М.: Молодая гвардия, 1988 (Серия «ЖЗЛ»).

Летопись жизни и творчества Ф. И.Тютчева. Кн. 1: 1803— 1844. [М.]: ООО «Литограф»; музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И.Тютчева. 1999.

Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Кн. 2: 1844— 1860. [М.]: ООО «Литограф»; музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И.Тютчева. 2003.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1-2. М: Наука, 1988, 1989.

Основат А. Л. «Как слово наше отзовется...»: О первом сборнике Ф. И. Тютчева. М.: Книга, 1980.

Основат А. Л. Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1.

Пигарев К. В. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России //Литературное наследство. Т. 19-21.

Полонский А. Э. Федор Тютчев: Мюнхенские годы. München,1999.

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989 (Литературные памятники).

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник. М.: Захаров, 2000.

Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М.: Книга и бизнес, 1999.

Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М.: Книга и бизнес, 1998.

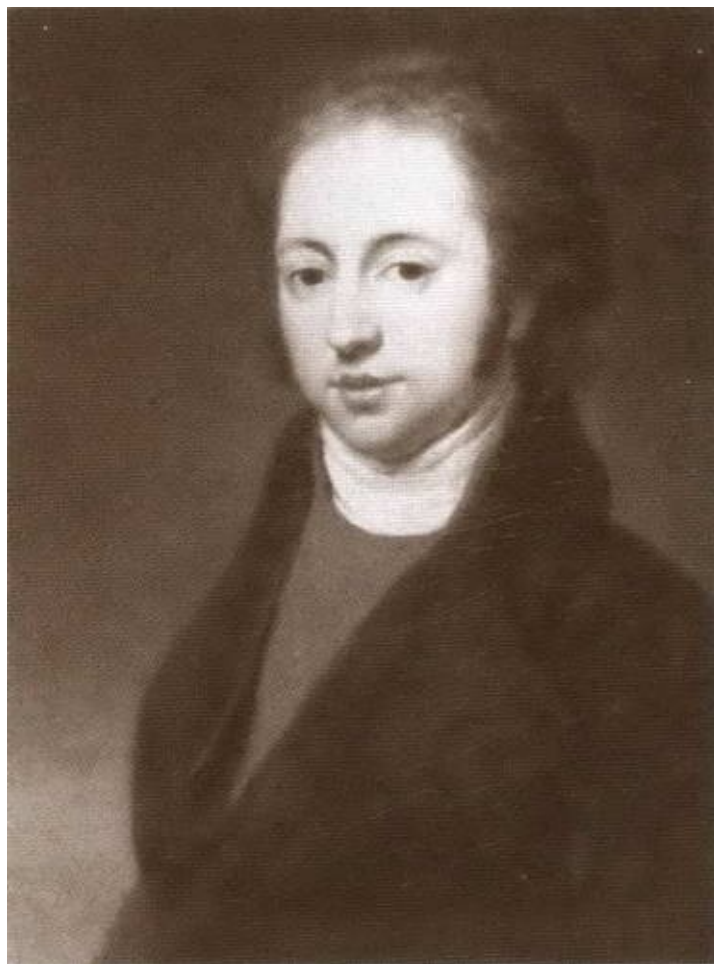
Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.;Л.: Academia, 1933.

Чулков Г. И. Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева). М.: Изд-во Сабашниковых, 1928.

<i>Иллюстрации</i>



C. J. Snow



Иван Николаевич Тютчев, отец поэта. Художник Ф. Кюнель. Москва. 1801 г.



Екатерина Львовна Тютчева, мать поэта. Неизвестный художник Конец XVIII - начало XIX в.



Федор Иванович Тютчев. Неизвестный художник. 1805-1806 гг.

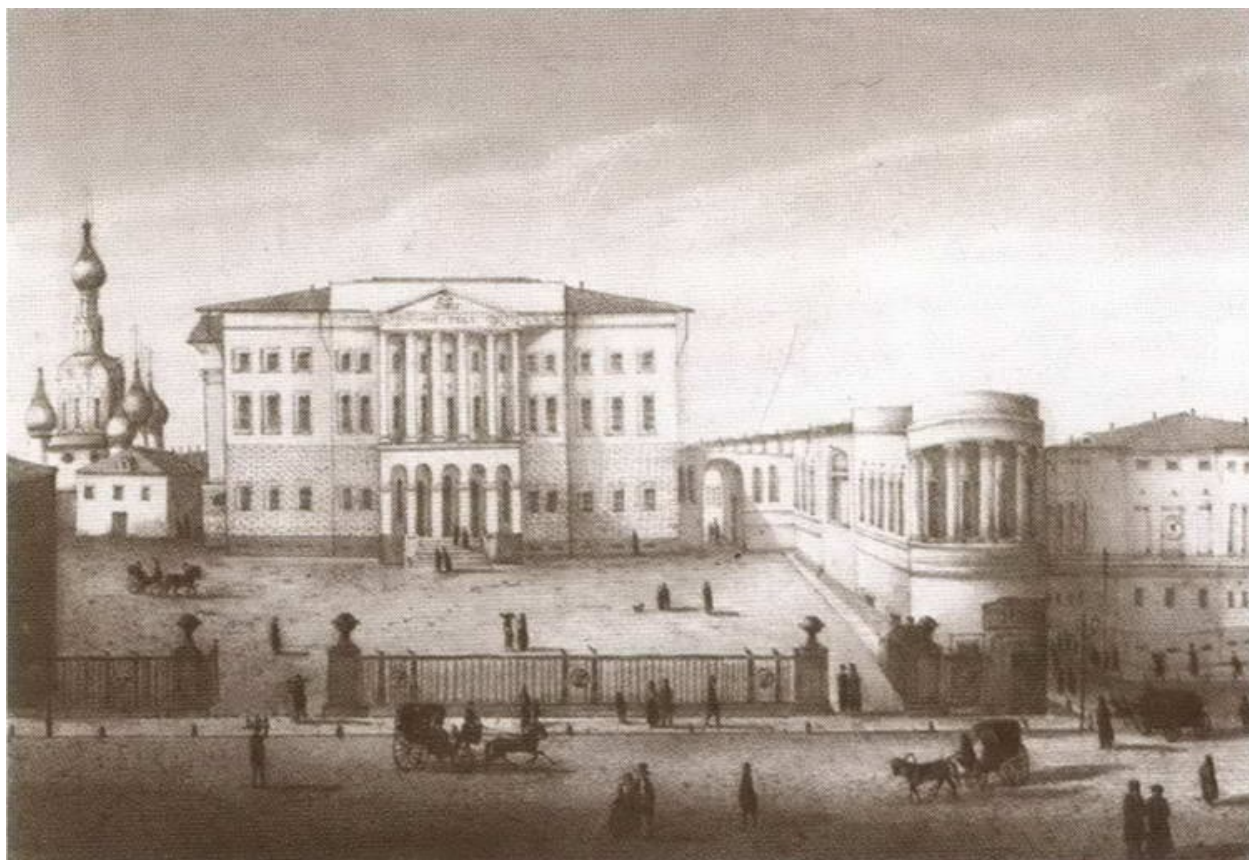


Петергоф. Фонтан «Самсон». Гравюра Ивана Ческого. 1801 г.

Среди гуляющих изображены император Александр I и великий князь Константин Павлович



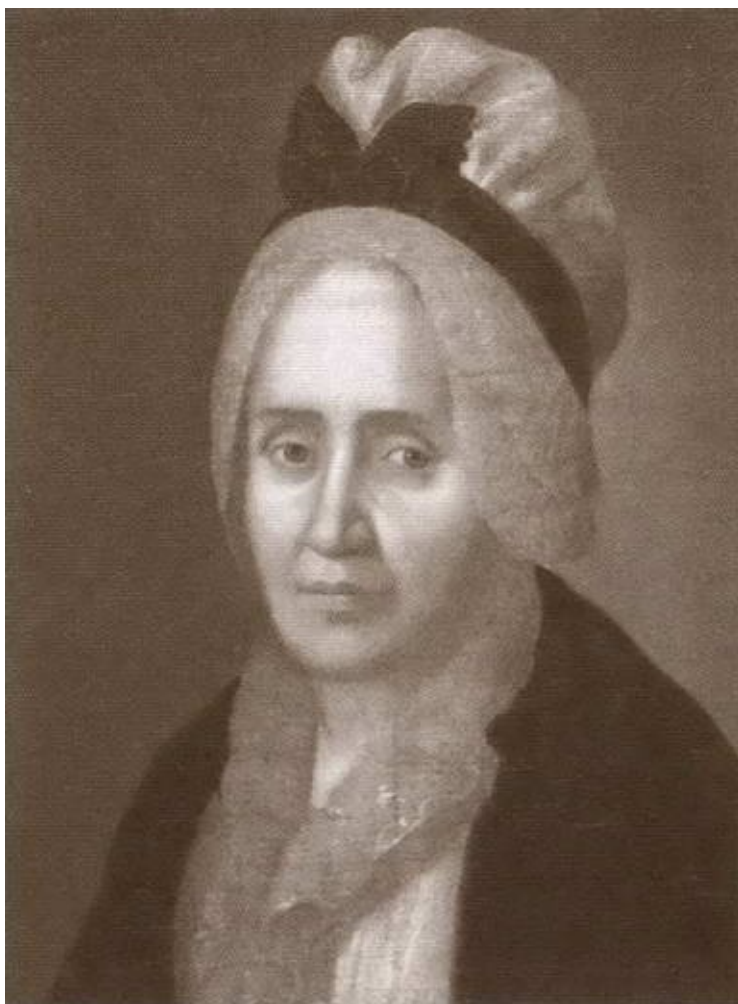
Федор Иванович Тютчев. Неизвестный художник. Москва. Конец 1810-х гг.



Вид старого и нового здания Московского университета. Художник Л. Феррари. 1860 г.



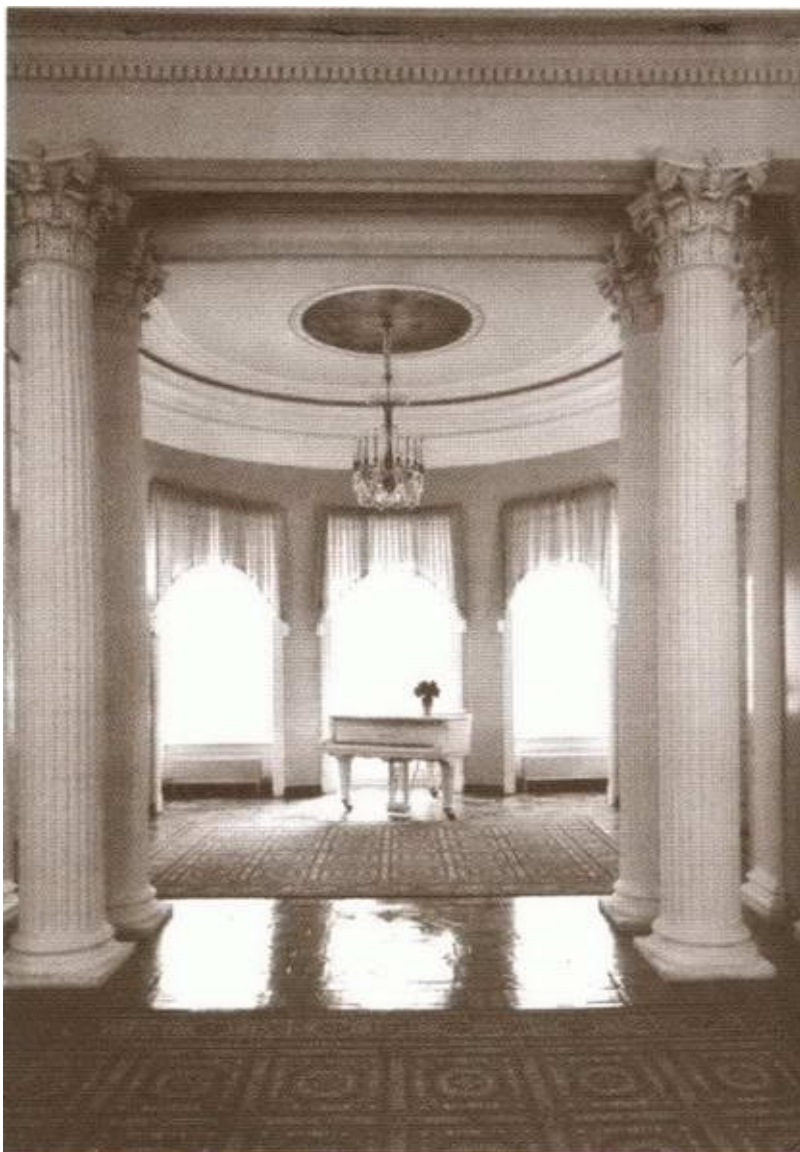
Николай Андреевич Тютчев, дед поэта. Неизвестный художник. Конец XVIII в.



Пелагея Денисовна Тютчева, бабка поэта. Неизвестный художник. Конец XVIII в.



*Николай Иванович Тютчев, брат поэта. Офицер Генерального штаба, военный разведчик.
Неизвестный художник. 1825 г.*



Дом Тютчевых в Москве в Армянском переулке. Овальный зал после реставрации. Фотограф И. Пальмин. 1993 г.



Москва. Ильинские ворота в Китай-городе. Литография. 1863 г.



Элеонора Тютчева (урожденная графиня Ботмер), первая жена поэта. Художник Й. Штилер (?). Середина 1820-х гг.



Федор Иванович Тютчев. Художник графиня Ипполита фон Рехберг. 9 марта 1838 г.



Федор Иванович Тютчев. Дагеротип. Мюнхен. 1841-1844 гг.



Сенная площадь в Мюнхене. Художник Й. Хофмейстер с оригинала Л. Ланге. 1840 г.



*Городская ратуша в Мюнхене. Художник К. Гестнер с оригинала Й. Хофмейстера. Фрагмент.
1840 г.*



Элеонора Тютчева, первая жена поэта. Художник Й. Шелер. Около 1827 г.



Федор Иванович Тютчев. Дагеротип. Петербург. 1848-1849 гг.

Еще томлюсь тоской желаний...
Еще взысканье в сердце ~~души~~
И во груди воспоминаній,
Ручьи милая счастія источи,
Мой милый образ, подобный
Счастью, милой, востань в душе,
Незабвенный, неувядающий
Как, Катюша, востань в душе.

Автограф стихотворения Тютчева «Еще томлюсь тоской желаний...». Посвящено памяти
Элеоноры Тютчевой. 1848 г.



Анна, Дарья, Екатерина Тютчевы, дочери поэта. Художник Л. Саломе. Мюнхен. 1843 г.



*Баронесса Эрнестина фон Дёрнберг (урожденная баронесса Пфеффель), вторая жена поэта.
Художник Г. Бодмер с оригинала И. Штилера 1830 г. Мюнхен. 1833 г.*



Овстуг. Дорога на мельницу. Художник О. Петерсон. 1861 г.



Эрнестина Тютчева. Художник Ф. Дюрк. Мюнхен. 1840 г.



Герб рода Тютчевых. 1802 г. С рисунка XIX в.



Федор Иванович Тютчев. Фото К. Даутендея. Петербург. 1850—1851 гг.



Колоннада дворца в Царском Селе. Литография К. К. Шульца с оригинала И. Мейера. Из альбома цесаревны Марии Александровны. Середина XIX



Императорский дворец на Елагином острове в Петербурге



Император Николай I и цесаревич Александр Николаевич со свитой. Художник К. Шмидт



Император Николай I. Художник Е. И. Ботман



Александра Федоровна. Художник Т. А. Нефф



Александрия. Дворец императрицы Александры Федоровны близ Петергофа



Баронесса Амалия Крюденер (урожденная графиня Лерхенфельд-Кефферинг, во втором браке графиня Адлерберг). По линии матери, принцессы Турн-унд-Таксис, кузина императрицы Александры Федоровны. Художник Х. Робинсон с оригинала Кура. Петербург. 1841 г.



Великая княгиня Мария Николаевна, дочь Николая I. Художник Т. А. Нефф. 1846 г.



Дворец великой княгини Марии Николаевны в Петергофе. Фрагмент



Царицын остров в Петергофе. Литография К. К. Шульца с оригинала И. Мейера. Из альбома цесаревны Марии Александровны. Середина XIX в.



Торжественный въезд Их Императорских Величеств в Москву 17 августа 1856 года. Художник М. А. Зичи. 1857 г.



Император Александр II. Художник К. Е. Маковский



Мария Александровна. Художник И. К. Макаров



Дворец в Царском Селе. Вид с Китайского моста



Канцлер граф К. В. Нессельроде. Художник Ф. Крюгер



Канцлер князь А. М. Горчаков. Художник М. Т. Богатский. 1876 г.



Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта. Фото И. Робийяра



Цесаревна Мария Александровна. Художник И. К. Макаров. Первая половина XIX в.



Дворец в Гатчине. Вид со стороны сада. Литография К. К. Шульца с оригинала И. Мейера. Из альбома цесаревны Марии Александровны. Середина XIX в.



Федор Иванович Тютчев. Фото С. Л. Левицкого. Париж. Март 1865 г.



Елена Александровна Денисьева, последняя любовь поэта. Фото Жемара и Ферре. Ницца. 1864 г.

Когда невидимо присущий —
В тени, поодаль, в стороне —
Твой взор спокойно всемогущий
С любовью тянется ко мне.

Последний автограф поэта. 27 ноября 1872 г.

РГАДА. Ф. 186. Оп. 2. Д. 511. Л. 1

Когда невидимо присущий —

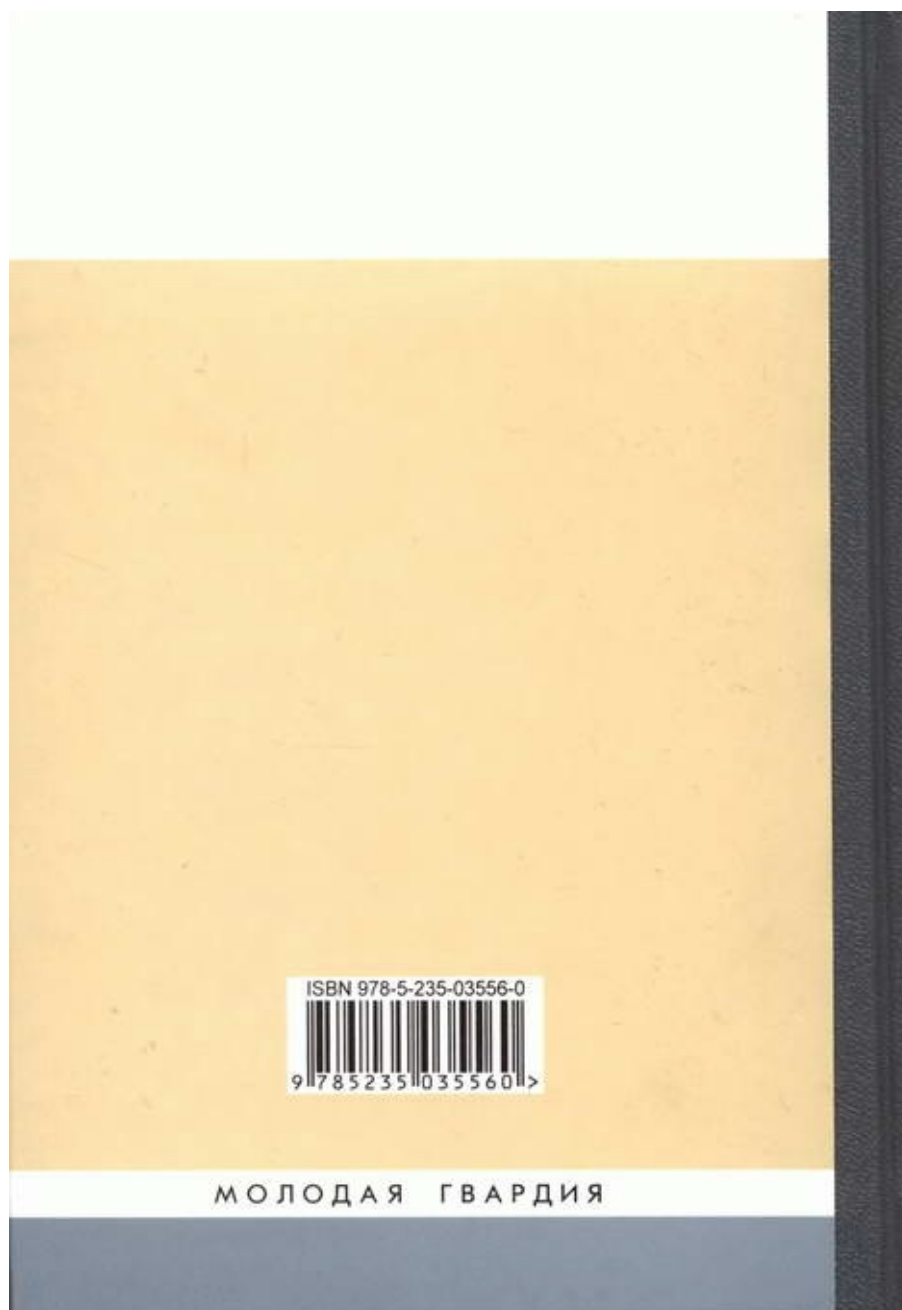
В тени, поодаль, в стороне —

Твой взор спокойно всемогущий

С любовью тянется ко мне.



Федор Иванович Тютчев. Фото С. Л. Левицкого. Петербург. 1867 г.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

notes

Примечания

«Объем и точность наших знаний о самых крупных людях искусства определяются не только их объективным весом, не только силой воздействия оставленных ими произведений, но также силой и яркостью освещения, бросаемого на их жизнь свидетельствами современников. От крупных мастеров остаются произведения, дневники, переписки. Остаются и воспоминания современников: друзей, врагов и просто знакомых. В этих материалах изображаются события и факты из жизни больших художников, рисуется их личность, воспроизводятся речения и афоризмы. Но редко бывает, чтобы в этих материалах и записях сохранился на длительном протяжении след живых бесед и диалогов, споров и поучений. Из всех проявлений крупной личности, которые создают ее значение для современников и потомков, *слово, речь, беседа* — наиболее эфемерные и преходящие. В дневники попадают события, мысли, но редко диалоги. Самые блистательные речи забываются, самые остроумные изречения безвозвратно утрачиваются. <...> А сколько бесед, и притом самых значительных, протекает без всякой специальной установки на запоминание и воспроизведение! Когда предмет разговора поглощает все внимание, а мысль высекает мысль, как кремень огонь, тут не до запоминания и не до точного сохранения услышанного. В итоге один из главных видов излучения художественной энергии — беседа, разговор, диалог — обычно лишь переживается их участниками и, пережившись, подвергается забвению. Что уцелело от бесед Пушкина, Тютчева, Байрона, Оскара Уайльда? А между тем современники согласно свидетельствуют, что в жизни этих художников беседа была одной из важнейших форм обнаружения их гения. Утрата всяких следов этих бесед не только обедняет в нашей памяти образы этих художников, но и лишает нас большого и драгоценного по своему содержанию материала» (Асмус В. Ф. Гете в «Разговорах» Эккермана // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М.: Искусство, 1968. С. 201).

Пометы на автографах шестнадцати стихотворений говорят о том, что они написаны в дороге. Еще два стихотворения могут быть отнесены к числу «дорожных» на основе косвенных данных. См.: Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М.: Наука, 1989. С. 177,182,290.

Николай Андреевич не забывал и о наместниках Бога на земле. Сохранились колоритные воспоминания очевидца грандиозной попойки, которую премьер-майор устроил в 1772 году в честь епископа Кирилла Флиоринского, архиерея Севской епархии. Сообщив ряд пикантных подробностей пиршества, касающихся состояния телесного низа его преосвященства после обильных и неумеренных возлияний, мемуарист заключил свой рассказ следующей сентенцией: «Сию тайну скрывала по днесь непроницаемая завеса времен. Из сего можно заключить, что есть на свете великое множество таких неизвестностей, которые оставили потомство в вечном о себе неведении и которые могли бы быть украшением исторического пера» (Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим писанная в Могилеве и в Витебске: 1752-1823. СПб., 1872. С. 89).

Еще в обер-офицерских чинах Николай Тютчев получил практику топографической съемки и военного обозрения местности и подпоручиком за отличие по службе был переведен в Гвардейский Генеральный штаб (Формулярный список поручика Н. И. Тютчева за 1826 год// РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7071. Ч. 1. Л. 79 об.). 27 февраля 1826 года в чине штабс-капитана был уволен в отставку «по домашним обстоятельствам» и отправился в продолжительное заграничное путешествие. В январе 1831 года он вновь поступил на действительную военную службу и в мае 1832 года получил назначение состоять при русском посольстве в Вене. Через несколько лет он был переведен в штаб Действующей армии в Варшаве, где служил до самой отставки в феврале 1842 года. Неоднократно находился в продолжительных заграничных отпусках (Генералы штаб-и обер-офицеры Гвардейского Генерального штаба // РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 779. Л. 28), которые предпочитал проводить в местах строительства фортификационных сооружений. Можно предположить, что все годы службы полковник Николай Тютчев занимался военной разведкой. Эта гипотеза многое объясняет в жизни его младшего брата Федора.

А. Ф. Мерзляков происходил из семьи небогатого купца и сам проторил себе в жизни дорогу. «Добрый пьяница, но ужасный невежда» — так о нем отозвался Пушкин вскоре после смерти профессора красноречия, стихотворства и языка русского. Да, Мерзляков отличался вызывающей несветскостью поведения и пристрастием к спиртному. Но он оставил свой скромный след в истории русского просвещения и русской культуры как прекрасный оратор и великолепный лектор. «Всякое его слово с кафедры западало в душу и навсегда в ней оставалось». Его лекции слушали Вяземский, Чаадаев, Лажечников, Киреевский, Полежаев, Лермонтов. Сочинял торжественные оды и очень популярные в свое время песни в народном духе. Переводил античных и итальянских поэтов. Белинский считал его переводы «превосходными». Неутомимо экспериментировал в области ритмики и был одним из создателей русского белого стиха. Писал критические статьи, демонстрируя обширную эрудицию и талант страстного полемиста. Целый ряд лет был деканом словесного отделения, воспитал несколько поколений студентов, имел репутацию властителя дум — и всю жизнь бедствовал, от этого пил, с годами всё больше и больше. Чтобы хоть как-то свести концы с концами и выбиться из нужды, университетские профессора, среди них и Мерзляков, организовывали пансион для подготовки благородных юношей к поступлению в университет и затем сами принимали у своих пансионеров вступительные экзамены. Ректорат смотрел на это снисходительно. До поступления в университет Федор Тютчев в течение трех лет обучался в частном пансионе Алексея Федоровича, одновременно вольнослушателем посещал университетские лекции профессора по теории словесности и был членом его «маленькой академии», а в октябре 1819 года ему же сдал вступительные экзамены.

«Как сообщают старые адресные книги, во втором десятилетии прошлого века в 3000 домовладениях проживало около 60 тысяч жителей. Горожанам предлагали свои услуги 34 адвоката, 47 врачей (в том числе 4 зубных и 2 глазных), 3 винодела, 57 пивоваров, 16 переплетчиков, 1 сапожник зимней обуви, 14 часовщиков, 1 изготовитель барометров. Городской комфорт и здоровье мюнхенцев поддерживали умельцы, врачи и другие специалисты 210 профессий. <...> В Мюнхене были аккредитованы посольства полутора десятков государств. <...> Лучшие зодчие — Кленце, Гертнер, Фишер, Шванталер — выстраивают великолепные здания и памятники в стиле греческой архитектуры: Пинакотеку, Глиптотеку, Пропилеи, Королевскую библиотеку и др. В городе издавались 25 газет (через 100 лет — 9!)». См.: Полонский А. Э. Федор Тютчев: Мюнхенские годы. Munchen, 1999. С. 72, 73.

В письме идет речь об Андрее Карамзине, который долгие годы был баловнем судьбы и трагически погиб в 1854 году на поле брани. Однако эти тютчевские строки вполне уместно применить к его собственной жизни в Мюнхене до начала 1830-х годов.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 23. Автор «Летописи» не заметил досадной ошибки, которая вкралась в его добротный труд: Тютчев получил чин именно коллежского секретаря, а не коллежского советника, то есть всего лишь X, а не V класс Табели о рангах, как неверно сказано в книге. «Дьявольская разница», «дистанции огромного размера» — так сказали бы классики. Пользуюсь случаем, чтобы исправить эту явную опечатку.

Благодаря скрупулезному исследованию Т. Г. Динесман давняя загадка «тайного брака» Тютчева была разгадана и получила исчерпывающее объяснение.

Коллежский асессор — это знаковая фигура русской дворянской культуры: вспомним гоголевского «майора» Ковалева, прекрасно осознававшего свое качественное отличие от всякого рода чиновничьей «мелюзги», бывшей ниже его чином. По Табели о рангах статский чин коллежского асессора соответствовал чину армейского майора и давал права потомственного дворянства тем чиновникам-разночинцам, которые до этого их не имели и чьи родители не принадлежали к благородному сословию Российской империи. Именно этот чин был для разночинцев «толико вожделенным», и именно ради его получения они стойко переносили все тяготы и лишения службы. Наш герой был потомственным дворянином с момента рождения, но и для него новый чин мог стать существенной вехой в карьере, ибо открывал потенциальную возможность получить более заметный служебный пост, например, стать первым секретарем заграничной дипломатической миссии.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 44. «В соответствии с договором между Англией, Францией и Россией, заключенным 7 мая 1832 г., на греческий престол был возведен второй сын Людвига I Баварского — несовершеннолетний принц Отгон. В нач. 1833 г. Отгон прибыл в Навплию вместе с тремя регентами — бывшим министром финансов Баварии Ф. Арманспергом, профессором Мюнхенского университета К. Маурером и полковником К. Гейдегтом; их политика с самого начала была враждебна интересам России» (Там же. Комментарий А. Л. Осповата). Тютчев был лично знаком с регентами и прекрасно ориентировался в обстоятельствах времени и места происходивших событий.

В первоначальной редакции письма было сказано: «Мюнхен был для него своего рода театральной ложей, из которой он смотрел на европейскую сцену» (Там же. С. 61).

За месяц до кончины посланника Тютчев написал своим родителям: «Бедняга! Мне искренно жаль его. Он умирает сломленный, изверившийся во всем, весь в долгах. Как дорого приходится расплачиваться за несколько приятных мгновений жизни» (Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 31 декабря 1836/12 января 1837 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 22). Каким благоразумным был наш герой, когда дело касалось не его.

14/26 октября 1838 года два поэта совершили на пароходе обзорную экскурсию по озеру Комо. «Во время плавания рисование и приятный разговор с Тютчевым. Глядя на север озера, он сказал: “За этими горами Германия”. Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Минхене» (Дневники В. А. Жуковского. СПб.: Общественная Польза, 1903. С. 429-430). До воспитателя наследника уже дошли слухи о романе дипломата с баронессой Дёрнберг.

Казанович Е. П. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // Уралия: Тютчевский альманах. 1803-1828 / Ред. Е. П. Казанович. Л.: Прибой, 1928. С. 132. В примечании автор указанной статьи специально обратила внимание читателей на то, что эти сведения передаются ею «со слов лица, слышавшего этот рассказ из уст самого Тютчева». В новейшем исследовании была предпринята попытка полностью опровергнуть эту «легенду». На основе архивных изысканий утверждалось, что накануне своего самовольного отъезда из Турина Тютчев переслал в Петербург таблицы шифров. Да, это так. Но я хотел бы возразить, что в Министерство иностранных дел были отправлены старые шифры прошлого 1838 года — «ныне отмененные» (Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. [М.], 1999. С. 224). На руках у дипломата должны были быть новые шифры, введенные в действие взамен отмененных. Однако нет никаких сведений о том, что Тютчев сдал и эти шифры.

Рассказ мемуаристки основан на словах графини М. Д. Нессельроде, жены министра, однако автор комментария С. В. Житомирская полагает, что эта версия событий «может восходить и к освещению фактов самим поэтом».

Чагин Г. В. «О ты, последняя любовь...»: Женщины в жизни и поэзии Ф. И. Тютчева. СПб.: Лениздат, 1996. С. 36—37. Аналогичным образом рассуждает и другой превосходный знаток тютчевской биографии, который предшествующие версии склонен считать не более чем анекдотом: в основании поспешного отъезда Тютчева из Турина, столь поспешного, что его следовало бы назвать бегством, лежала «коллизия вполне интимного свойства» {Основат А. Л. Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 91). Автор этой публикации деликатно воздерживается от пояснений и лишь в примечании ссылается на выкладки английского исследователя Р. Лэйна (Там же. С. 97).

На самом деле старшинство было дано только с 31 декабря 1838 года (Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. [М.], 1999. С. 232).

Современный исследователь так комментирует этот документ: «Вероятно, об этой переписке-проверке узнал Тютчев и это последнее предательство сослуживцев и вынудило его далее не возвращаться к службе» (*Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 160*).

Супруга поэта так описала возвращение из Европы в Россию: «Ужасные дороги, невыносимые дети и, как вы можете себе представить, не слишком любезный Тютчев» (Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. <26 сентября>/8 октября 1844 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 210).

Из воспоминаний А. И. Георгиевского//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 107. Автор воспоминаний был женат на сводной сестре Лели Денисьевой.

Следует подчеркнуть, что Денисьевы и Тютчевы поддерживали отношения в течение нескольких лет. Письмо датировано еще 14 ноября 1846 года. Сближение Тютчева с Денисьевой произошло 15 июля 1850 года.

В приложении к мартовскому номеру журнала «Современник» за 1854 год было опубликовано 92 стихотворения Тютчева, которые имели самостоятельную пагинацию страниц и были снабжены титулом и оглавлением. В приложении к майскому номеру «Современника» было напечатано еще 19 стихотворений. Эти две поэтические подборки (за исключением одного стихотворения) и были воспроизведены в первой книге Тютчева. Из книги по цензурным причинам пришлось исключить стихотворение «Пророчество» («Не гул молвы прошел в народе...»; в журнале опубликовано без заглавия). Журнальная публикация этого стихотворения в третьем номере «Современника» вызвала большой резонанс в обществе и неудовольствие государя. Николай I зачеркнул две последние строчки: «Пади пред ним, о царь России, / И встань, как всеславянский царь» и на полях собственноручно наложил резолюцию: «Подобные фразы не допускать». О высочайшей воле было сообщено министру народного просвещения, государственному канцлеру и шефу жандармов. Соответствующие бумаги были посланы им из канцелярии Военного министерства с грифом «конфиденциально». Автор стихотворения не пострадал. Сенсация, произведенная «Пророчеством», не могла не заглушить в восприятии читателей впечатление от искренних лирических признаний «Денисьевского цикла». «Блаженство и безнадежность» последней любви великого русского поэта не были замечены на фоне бурных военно-политических событий весны и лета 1854 года.

После выхода в свет повести И. Г. Эренбурга «Оттепель» (1954-1956) это слово облетит весь мир и станет не только распространенным обозначением периода советской истории, наступившего после смерти Сталина (1953), но и обретет иной, философский, смысл. Оттепель — это метафора любого начального момента времени некоторых долгожданных перемен в социальной и культурной жизни, связанных с ослаблением жестокого политического режима предшествующих лет. Автор повести был прекрасно осведомлен, кто именно и при каких обстоятельствах впервые дал этой метафоре права гражданства: реминисценции тютчевских образов неоднократно встречаются в лирике Эренбурга, который очень хорошо знал наследие поэта. И современники Тютчева, и современники Эренбурга не были склонны к самообольщению, ибо понимали: оттепель — это тепло среди зимних морозов; оттепель — это явление временное, она непродолжительна и легко обратима вспять. За оттепелью может последовать не только весна, но и более сильные, чем прежде, морозы. Отечественная история несколько раз подтверждала справедливость подобных опасений.

Егоров А. Е. Страницы из моей жизни // Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 243. Автор этих воспоминаний с 13 октября 1872 года служил старшим помощником цензора Центрального комитета цензуры иностранной.

Китти цитирует обширную выдержку из письма Тютчева его родной сестре Дарье Ивановне Сушковой. После окончания Смольного Китти долгое время жила в семье Сушковых, у которых не было детей.

Из 77 обвиняемых никто не был приговорен к смертной казни, четверо были осуждены на каторгу, 28 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения, двое — к ссылке на поселение. Остальные были оправданы по суду, но большая часть их подверглась административной высылке.

События, связанные с пребыванием Ф. И. Тютчева за границей, датируются по двум календарям: российскому (юлианскому) и европейскому (григорианскому).

comments

Ссылки

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Веймар. 10/22 сентября 1841 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Письма.* М.: Художественная литература, 1984. С. 61.

Пушкин — князю П. А. Вяземскому. 27 мая 1826 г. Псков// *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. (23 кн.) Т. 13. М.: Воскресенье, 1996. С. 280. (Далее: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений.)*

Тютчев — Эрнестине Ф. Тютчевой. Варшава, 2 сентября 1853 г. // Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М.: Книга и бизнес, 1999. С. 30-31.

Карамзин Н. М. История государства Российского: В XII т. Т. V. М.: Наука, 1993. С. 242-243. Ср.: *Чагин Г. В.* Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М.: Книга и бизнес, 1998. С. 7—8; *Алексеев В. П.* Тютчевский Овстуг: Очерк-путеводитель. Брянск: Придесенье, 2000. С. 9-11.

Кинеев П. Г. Салтычиха // Русский архив. 1865. № 2. Сгб. 642-651; Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1872. Кн. I. С. 33-44; *Студенкин Г. И.* Салтычиха // Русская старина. 1874. Т. X. С. 497-548; *Чагин Г. В.* Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 10—12; *Алексеев В. П.* Тютчевский Овстуг. Брянск, 2000. С. 17, 32—36.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. М.: Воскресенье, 1995. С. 86, 93.

Шеппинг Д. О., барон. Поместье Салтычихи // Русский архив. 1871. № 7-8. Стб. 1281-1286; *Он же.* Древний Сосенский стан Московского уезда. М.: Университетская типография, 1895. С. 20-21 (Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1895. Кн. III. Т. 174); *Молева Н. М.* Древняя быль новых кварталов. М.: Московский рабочий, 1982. С. 15, 23—44; М.: Энциклопедия; М.: Большая российская энциклопедия, 1997. С. 808.

Русский архив. 1865. № 2. Стб. 644.

Русская старина. 1874. Т. X. С. 533.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 4. М.; Воскресенье, 1994.
С. 204.

Русская старина. 1874. Т. X. С. 534.

Русская старина. 1874. Т. X. С. 543, 545, 546; Русский архив. 1865. №2. Стб.649,650.

Артамонов М. Д. Московский Некрополь. М.: Столица, 1995. С. 238, 327.

Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 12; Алексеев В. П. Тютчевский Овстуг. Брянск, 2000. С. 37-39, 50-56.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.: Прогресс, Универс, 1994. Стб. 1556 (Репринт издания 1909 г.).

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. Ч. 1. М., 1995. С. 166, 167.

Кожин В. В. Тютчев. М: Молодая гвардия, 1988. С. 25 («ЖЗЛ»).

Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М, 1998. С. 14.

Дмитриев И. И. Сочинения. М.: Правда, 1986. С. 326.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1994. Стб. 313.

Вяземский П. Л. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 216,419 (История эстетики в памятниках и документах).

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стб. 11; Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М.: Книга и бизнес, 1999. С. 298.

Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1988. С. 305 (Полярная звезда).

Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 54.

Словарь русских генералов // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Вып. VII. М.: Студия «ТРИТЭ», 1996. С. 483.

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стб. 16; Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 300.

Вересаев В. В. Пушкин в жизни: В 2 т. Т. 1. М.; Л.: Academia, 1932. С. 272.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Ч. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 204.

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стб. 15; Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С.300.

Раич С. Е. Жалобы Сальватора Розы // Поэты 1820 — 1830-х годов. Т. 2. Л.: Советский писатель, 1972. С. 24 (Библиотека поэта. Большая серия).

Раич С. Е. Автобиография // Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 25.

Там же. С. 27.

Там же. С. 29, 30.

Дмитриев М. А. Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М.: Московский рабочий, 1985. С. 152 (Московский Парнас).

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. М.: Воскресенье, 1995.
С. 8; Т. 8. Ч. 1. С. 55.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 111 (Россия в мемуарах).

Там же. С. 77-78.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. Н. Я. Берковского. Сост., подгот. текста примеч. А. А. Николаева. 3-е изд. Л.: Советский писатель. Ленингр. отделение, 1987. С. 54 (Библиотека поэта. Большая серия). Все стихотворения Тютчева цитируются по этому изданию.

Русские поэты: Антология русской поэзии: В 6 т. Т. I. М: Детская литература, 1989. С. 87.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 121.

Записи о Тютчеве в дневнике М. П. Погодина. 1820 // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 12.

Там же. С. 24.

Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 305-306.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 112.

Там же.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 13.

Там же. С. 182.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л.: Academia, 1933. С. 56.

Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 48. Редактор-составитель этого капитального тома Г. В. Чагин с исчерпывающей полнотой прокомментировал факт досрочного окончания Тютчевым университета в своей книге: Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 79—83.

А. М. Горчаков — А. Н. Пещурову. Царское Село. 22 апреля 1816 г. // Красный архив. 1936. № 6 (79). С. 186.

Там же. С. 188.

Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого // Канцлер А. М. Горчаков. 200 лет со дня рождения. М: Международные отношения, 1998. С. 395.

Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Кн. 1: 1803—1844. [М.]: ООО «Литограф», музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева, 1999. С. 55, 79, 82. (Далее: Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева.)

Добужинский М. В. Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 173, 176, 177
(Литературные памятники).

Гоголь Н. В. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1984. С. 382 (Библиотека классики).

И. И. Воронцов-Дашков — К. В. Нессельроде. Мюнхен. 10/22 мая 1825 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 183.

Дмитриев М. Л. Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985. С. 184.

Канцлер А. М. Горчаков. М., 1998. С. 379.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 13. Ср.: Там же. С. 184, 185.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Среда. 9 июня <1854> г.// *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 211.*

Чагин Г. В. Тютчев в следственном деле Д. И. Завалишина// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 440; Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. [М.], 1999. С. 73.

Журналы и докладные записки Следственного комитета. Заседание LXXXVII от 26 марта 1826 года // Восстание декабристов. Документы. Т. XVI. М.: Наука, 1986. С. 144.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 72-73.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Кн. 1. С. 89.

Там же. С. 28.

Полонский Л. Э. Федор Тютчев: Мюнхенские годы. München, 1999. С. 21, 24, 28, 102; *Динесман Т. Г.* О некоторых фактах биографии Тютчева: 1. «Тайный брак» // *Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева.* [М.], 1999. С. 298— 302; Там же. С. 71, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. [М.], 1999. С. 90.

Там же. С. 101-102.

И. А. Потемкин — К. В. Нессельроде. Мюнхен. 2/14 февраля 1831 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 186.

И. А. Потемкин — К. В. Нессельроде. Мюнхен. 4/16 сентября 1832 г. // Там же. С. 187.

Там же.

Эл. Ф. Тютчева — Н. И. Тютчеву. Мюнхен. <3>/15 апреля 1833 г. //Там же. С. 188.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 255.

Эл. Ф. Тютчева — Н. И. Тютчеву. Мюнхен. <3>/15 апреля 1833 г. // Литературное наследство. Т 97. Кн. 2. С. 188.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 36.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 493; Т. 97. Кн. 2. С. 197; Летопись... С. 170.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 29 августа/10 сентября 1837 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 29.

Записки графа Е. Ф. Комаровского// Державный сфинкс. М: Фонд Сергея Дубова, 1999. С. 19 (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII—XX вв.).

Гласе А. Дипломатическая миссия Тютчева в Грецию// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 447.

И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. Париж. < 16>/28 октября 1874 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 43.

И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. Париж. <28 октября>/9 ноября
1874 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 48-49.

Тютчев — И. С. Гагарину. Мюнхен. 2—3 мая 1836 г. // *Тютчев Ф. Я.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. Письма. М., 1984. С. 16-17.

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стб. 19-20.

И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. Париж. <28 октября>/9 ноября 1874 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 48.

Эл. Ф. Тютчева — Н. И. Тютчеву. Мюнхен. <Июнь-июль 1833 г. >//Там же. С. 190.

Полонский А. Э. Федор Тютчев: Мюнхенские годы. München, 1999. С. 76-82.

Тютчев — И. С. Гагарину. Мюнхен. 2-3 мая 1836 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 15-16; *Литературное наследство*. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 506-507.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. <Петербург> Среда. 10 декабря 1852 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С 192.*

Г. И. Гагарин — К. В. Нессельроде. Мюнхен. 21 апреля/3 мая 1836 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 194.

Эдлинг Р. С. Записки //Державный сфинкс. С. 181.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 40, 42, 43; Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 195.

Тютчев в дневнике А. И. Тургенева (1832— 1844) // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 86.

Эл. Ф. Тютчева — Е. Л. Тютчевой. Мюнхен. 7/19 января 1837 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 196-197.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 31 декабря 1836/12 января 1837 г. // *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 22.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Турин. 1/13 ноября 1837 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 29-30.

Полонский А. Э. Федор Тютчев: Мюнхенские годы. München, 1999. С. 58.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 17/29 июня <1838> // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 38.*

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 48; Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С 530.

Д. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. Турин. 10/22 октября 1871 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 417.

Тютчев — К. В. Нессельроде. Турин. 6/18 октября 1838 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 532.

Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 154—155. В примечаниях автор книги привел подробную библиографию публикаций, посвященных дипломатической деятельности поэта.

Долгоруков П. В. Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта: 1860-1867. М.: Новости, 1992. С. 164.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 202.

Н. И. Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Турин. 25 декабря 1838/6 января 1839 г. // *Литературное наследство*. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 200.

Н. И. Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Варшава. 21 июля/2 августа 1839 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 203.

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стб. 32.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 478; *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 499, 705 (Литературные памятники).

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Кн. 1. С. 284.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 53; Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 160.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 14 апреля 1840 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 50.*

Тютчев — К. В. Нессельроде. Турин. 6 августа 1838 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 529—530.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 1/13 декабря 1839 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1989. С. 44.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 20 января/1 февраля 1840 г. // Там же. С. 47.

Шепелев Л. Е. Чиновный мир России: XVIII — начало XX в. СПб.: Искусство, 1999. С. 337-338.

Гоголь Н. В. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1984. С. 477.

Толстой Л. Н. Война и мир. Т. I. Ч. 3, IX. М.: Художественная литература, 1978. С. 230.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 1/13 декабря 1839 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 44.*

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 55.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 3 февраля 1840 г. // *Тютчев Ф. Я. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 47.*

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений: В 2 т. / Ред. и коммент Г. И. Чулкова. Т. I. М., Л.: Academia, 1933. С. 348, 396.

Тютчев Ф. И. Полное собрание Стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 147.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 18/30 марта 1843 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 76.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. С. 57; Чагин Г. В. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе XIX века. М., 1998. С. 162.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 58.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Мюнхен. 13 октября 1842 г. // Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 3. Ср. иной перевод: *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 72.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Веймар. 10/22 сентября 1841 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 59.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 1/13 марта 1842 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 66.*

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 86.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Вена. 13 июня 1843 г. // Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 4.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Мюнхен. 14 апреля 1840 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 50.*

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Петербург. 26 августа 1843 г. // Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 8-9.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. <28 августа>/ 9 сентября 1843 г. // *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 88.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.;Л., 1933.
С. 61.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. <28 августа>/ 9 сентября 1843 г. // *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 88.

Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стб. 21.

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 9.

Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // Русская старина. 1899. № 12. С. 488.

Там же. С. 489.

Сон юности: Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны: 1825—1846// Николай I: Муж. Отец. Император. М.: Слово, 2000. С. 235 (Русские мемуары).

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. <28 августа>/ 9 сентября 1843 г. // *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 88.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Берлин. 29 сентября 1843 г. // Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 11-12.

Кюстин А. Николаевская Россия. М.: Политиздат, 1990. С. 316.

Азадовский К. М., Осоват А. Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе (К истории отношений) //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 460.

Осват А. Л. Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 96.

Тютчев Ф. И. Докладная записка императору Николаю I. 1845 г. // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 113.

Казанович Е. П. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // Уралия: Тютчевский альманах. 1803—1828. Л., 1928. С. 152, 169—171;
Осват А. Л. Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 94-95.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Петербург. 27 октября <1844> // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 98.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеллю. Париж. <21 мая>/ 2 июня 1844 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 207.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 63.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. <26 сентября >/8
октября 1844 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 210.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. < 14 >/26 октября 1844 г.
// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 211.

Там же.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Петербург. 27 октября < 1844> // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 98.*

Там же. С. 98-99.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. < 14>/26 ноября 1844 г.
// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 211.

Соллогуб В. Л., граф. Воспоминания. М.; Л.: Academia, 1931. С. 412—413; Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 83.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.;Л., 1933.
С. 65.

Вяземский П. А. Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. С. 232
(Русские дневники).

Тютчев — Н. Н. Шереметевой. С.-Петербург. 26 декабря <1845> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 495.

Тютчев Ф. И. Докладная записка императору Николаю I. 1845 г. // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 105-113.

Азадовский К. М., Осоват Л. Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе //
Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 459.

Мемуары графа С. Д. Шереметева. М.: Индрик, 2001. С. 162.

И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. <Париж>.<14>/26 ноября 1874 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 53.

И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. <Париж>. 15/27 ноября 1874 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 54; Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М, 1999. С. 68.

Вульф А. Н. Дневники // Любовный быт пушкинской эпохи: В 2 т. Т. 1.
М.: Вাসанта, 1994. С. 269.

Эрн. Ф. Тютчева — Д. И. Сушковой. Петербург. <Апрель (после 14) 1845 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 213.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 65, 66.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 21 мая/ 2 июня 1845 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 213.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеллю. Петербург. 20 марта/<1> апреля
1845 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 213.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 21 мая/ 2 июня 1845 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 213.

Там же.

Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. <Петербург. 25 ноября 1845 г.> // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 106-107.*

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник.
М.: Захаров, 2000. С. 6-7.

Раскин Д. И. Исторические реалии биографий русских писателей XIX — нач. XX вв. // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 2. М.: Большая российская энциклопедия, 1992. С. 608-609.

Вяземский П. Л. Записные книжки. С. 250. Запись не датирована, но, судя по ее расположению в книжке, вероятнее всего сделана князем летом — осенью 1846 года.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 8/20 апреля 1846 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 215.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 14/26 мая 1846 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 217.

Д. Ф. Тютчева — А. Ф. Тютчевой. <Овстуг> 2/<14> августа<1855 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 272.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Овстуг. 25 августа/ 6 сентября 1857 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 292.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. <Петербург. Около 25 марта/6 апреля 1847 г. > //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М, 1989. С. 219.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеллю. Гапсаль. 25 июня/ 7 июля 1847 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 222.

Чулков Г. И. Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева). М.: Изд-во Сабашниковых, 1928. С. 30-34.

Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М., 1999. С.4.

Соколова А. Император Николай I и васильковые дурачества// Исторический вестник. 1910. № 1.С. 109—110.

Толстой Л. Н. Война и мир. Т. I. Ч. 2, X. М.: Художественная литература, 1978. С. 146—147.

Тютчев — Н. Н. Шереметевой. С.-Петербург. 26 декабря <1845> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 495.

К. Пфеффель — Эрн. Ф. Тютчевой. Мюнхен. <16>/ 28 мая 1849 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 231.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Пятница. 9 сентября 1855 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 237.*

Тютчев Ф. И. Незавершенный трактат «Россия и Запад». Публикация
К. В. Пигарёва//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 209.

Кожин В. В. Незавершенный трактат «Россия и Запад»: Вступ. ст. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 194; *Лэйн* Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х — начала 1850-х годов // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 233, 243.

Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х — начала 1850-х годов // *Литературное наследство*. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 240.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 24 апреля/<6 мая 1849 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 231.

Цит. по: *Пигарев К. В.* Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России // *Литературное наследство*. Т. 19-21. С. 196.

Кожин В. В. Незавершенный трактат «Россия и Запад» // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 183-184.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 72, 73.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 1/13 мая 1850 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 241-242. Ср.: Там же. С. 233, 245.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Овстуг. 13—16/25— 28 июля 1849 г.
//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 233.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 23 марта/4 апреля 1849 г.
//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 230.

Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // Русская старина. 1900. Т. СП. С. 49. Наиболее обстоятельная сводка отзывов современников о графине Нессельроде приведена П. Е.Щеголевым в его книге «Дуэль и смерть Пушкина: Исследования и материалы» (М.: Книга, 1987. С. 386-390).

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеллю. Петербург. 9/21 октября 1849 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 235.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 9/21 апреля 1850 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 244.

Эрн. Ф. Тютчева — П. А. Вяземскому. Петербург. 2/< 14> июля 1850 г.
//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 245.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 254.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 17.

Из воспоминаний А. И. Георгиевского // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 107.

Там же. С. 125.

Там же. С. 108.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. Вторник. 28 августа 1851 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 178.*

Из воспоминаний А. И. Георгиевского//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 125.

Там же. С. 123, 124.

Там же. С. 111.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 7/19 сентября 1850 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 247.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Понедельник. 2 июля < 1851 > //

Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 151-152.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Пятница. 13 июля <1855> //

Тютчев Ф. Я. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 154.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. <Петербурге Среда. 10 декабря 1852 г. // *Тютчев Ф. Я. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 189— 190,192.*

Эрн. Ф. Тютчева — П. А. Вяземскому. Овстуг. 5/17 июля 1852 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 252.

Из дневника А. Ф. Тютчевой. <Овстуг> 2/<14> января 1853 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 253.

Тютчев — великой княгине Марии Николаевне. <Петербург. 31 августа 1852> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1.М., 1988. С. 523.

Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 15; Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М, 1989. С. 378.

Эрн. Ф. Тютчева — А. Ф. Тютчевой. <Овстуг> 7/< 19> января 1853 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 253.

А. Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой. <Петербурге 25 января/<6 февраля>
1853 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 254.

Мемуары графа С. Д. Шереметева. М.: Индрик, 2001. С.117.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. < Петербург > Среда. 25 февраля 1853 г.//
Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 197.

Там же. С. 195.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 93.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. 16/28 июня 1853 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 256.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петербург> 15/27 июня 1853 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С.256.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петергоф> 28 июля/ <9 августа> 1853 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 257.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. Суббота. <3/15 декабря 1853> // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 198.

Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 61.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 157.

Тютчевиана. М., 1999. С. 20.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Пятница. 9 сентября 1855 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 235.*

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петербург. Начало ноября 1853 г.>
//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 258.

Эрн. Ф. Тютчева — А. Ф. Тютчевой. Мюнхен. 9/21 января 1854 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 259.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
С. 101.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 186.

Осват А. Л. «Как слово наше отзовется...»: О первом сборнике Ф. И. Тютчева. М.: Книга, 1980. С. 49-57.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 184.

А. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Петербург> 17/<29> июня 1854 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2.М., 1989. С. 265.

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник. М., 2000. С. 63.

Там же. С. 131.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 105; Твардовская В. А. Тютчев в общественной борьбе пореформенной России//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 135, 166 (примечание 16).

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 193.

Тютчева Л. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник. М., 2000. С. 44.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петербург> 17/29 декабря 1855 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 280.

Там же. С. 281.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 14/26 марта 1856 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С.283.

Тютчевиана. М., 1999. С. 23.

Там же. С. 18.

Канцлер А. М. Горчаков. М., 1998. С. 387.

Гоголь Н. В. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1984. С. 485.

Е. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Москва> 5/< 17> сентября 1856 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 285.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Понедельник. 13 мая <1857> // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 247. Ср.: Мещерский В. П. Мои воспоминания // Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 145; Шепелев Л. Е. Чиновный мир России: XVIII — начало XX в. СПб., 1999. С. 355.*

Тютчевиана. М., 1999. С. 35, 71.

Там же. С. 35—36.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Овстуг. 25 августа/ 6 сентября 1857 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 292.

Д. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петербург> 27 октября <8 ноября>
1857 г. / Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 293.

Тютчевиана. М., 1999. С. 36, 37, 38.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М; Л., 1933.
С. 116, 120.

Гусман Л. Ю. История несостоявшейся реформы: Проекты преобразования цензуры иностранных изданий в России (1861-1881 гг.). М.: Вузовская книга, 2001. С. 25.

Там же. С. 74.

Там же. С. 27, 28, 29.

Златковский М. Л. Аполлон Николаевич Майков. 1821 — 1897. Биографический очерк. 2-е изд., доп. СПб.: Типография П. П. Сойкина, 1898. С. 61.

Там же. С. 85.

Там же.

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 500.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Петербург. Пятница. 23 июля 1854 г.//
Тютчев Ф. Я. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 216.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Кн. 1. С.219.

Д. Ф. Тютчева — А. Ф. Тютчевой. <Овстуг> 19/<31> августа < 1855 г.>
//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 274, 275.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петербург. Январь — март> 1858 г.
//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 293.

Эрн. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. Овстуг. 31 августа/ <12 сентября 1858 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 296.

Эрн. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. Рейхенхаль 12/ 24 июня 1859 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 302-303.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Вильдбад. Воскресенье. 5/ 17 июля <1859>
// *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М, 1984. С. 261.

Там же. С. 265.

Старина и новизна. 1916. Кн. 21. С. 166-167.

Д. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. Веве. 15/27 сентября < 1859 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 306.

Императрица Мария Александровна — Д. Ф. Тютчевой. <Ноябрь — декабрь 1860 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 322.

Евг. П. Ковалевский — Ег. П. Ковалевскому. <Петербург 4/<16>
декабря 1859 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 308-
309.

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. <Петербурге Среда. 10 декабря 1852 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 190.*

Эрн. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Петербург> 7/19 января < 1860 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 310.

М. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Петербург> 7— <8>/19—<20>
января < 1860 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 310.

Из воспоминаний А. И. Георгиевского//Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 111.

Эрн. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Овстуг> 1/< 13> октября 1860 г.
// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 321.

Чагин Г. В. «О ты, последняя любовь...» С. 105.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Петербурге 28 декабря 1853 г./<9 января 1854 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 259.

Там же.

Е. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Москва. 7/19 декабря 1854 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 267.

Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина: 1843—1856. М.: Редакция альманаха «Российский архив», 2000. С. 115, 126-130.

Е. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Москва> 7/< 19> октября < 1860 г.>
// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 321.

Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. М.: Художественная литература, 1965. Т. 19. Дневники. С. 189, 202, 227, 228, 230, 231, 234-235; Т. 17. Письма. С. 230-231.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 205.

Императрица Мария Александровна — Д. Ф. Тютчевой. <Петербург. Конец марта (после 25-го) 1861 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 323.

Д. Ф. Тютчева — Эрн. Ф. Тютчевой. <Москва> 29 мая/ <10 июня>
1861 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 324.

Д. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Царское Село> 4/<16> сентября 1862 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 331.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. < Царское Село. Конец октября (до 24-го) 1862 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 332.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 358.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 209.

Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 342; *Тютчев Ф. И.* Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 210.

Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел: В 2 т. Т. I: 1861-1864. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 258-259.

Пушкин — П. А. Вяземскому Царское Село. 1 июня 1831 г. // *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 14. С.169.*

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Кн. 1. С.269.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 119-120.

Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел: В 2 т. Т. I: 1861-1864. М., 1961. С. 290.

Старина и новизна. 1916. Кн. 21. С. 207-208.

Д. И. Сушкова — Е. Ф. Тютчевой. <Москва> 20 июня/ <2 июля> 1863 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 337.

Там же. С. 340.

Там же. С. 341.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. Петербург. 15/<27> января 1864 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 343. Слово «распущенного» во французском тексте письма написано по-русски.

Тютчев — А. И. Георгиевскому. С.-Петербург. 8 августа < 1864>//
Тютчев Ф. Я. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 269.

Цит. по: Чулков Г. И. Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева). М.: Изд-во Сабашниковых, 1928. С. 64-65.

А. Ф. Тютчева — К. П. Победоносцеву. Ницца. 13/<25> октября 1864 г.
// Литературное наследство. Т. 97. Кн. М., 1989. 2. С. 360.

Д. И. Сушкова — Е. Ф. Тютчевой. <Москва. 23—24 августа/4—5 сентября 1864 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 352.

Там же.

Из воспоминаний А. И. Георгиевского// Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. С. 138.

Е. Ф. Тютчева — Д. И. Сушковой. Берлин. 12/24 октября 1864 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С.360.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. Ницца. 24 февраля/ <18 марта 1865 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 371.

Из записок А. Ф. Тютчевой. Петербург. 2/14 июля 1865 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 375.

Мемуары графа С. Д. Шереметева. С. 117.

Толстой — А. А. Толстой. 1865 г. Ноября 26...27. Ясная Поляна // *Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 17. С. 299.*

Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Москва. Среда. 12 января 1866 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 281.

Я. П. Полонский — Е. А. Штакеншнейдер. <Петербург> 30 мая/<11 июня> 1865 г. //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М, 1989. С. 373.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. Ницца. 10/22 января 1865 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 364.

Там же. С. 366 (примечание 3).

Долгоруков П. В. Двоюродная пошлость, стихотворение Федора Ивановича Тютчева // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 346 (примечание 14).

Алексеев В. П. Тютчевский Овстуг... Брянск, 2000. С. 151-155.

Там же. С. 140-141.

А. Ф. Тютчева — Е. Ф. Тютчевой. <Царское Село> 2/<14> октября
1865 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 379.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 224.

Тютчев — Н. И. Тютчеву. Петербург. 8 июня 1867 г. // *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 301-302.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. 6/18 февраля 1867 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 387.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 234.

Тютчева Л. Ф. При дворе двух императоров. М., 2000. С.81.

К. Пфеффель — Эрн. Ф. Тютчевой. Вильдбад. <9>/ 21 июля 1867 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 389.

Старина и новизна. 1917. Кн. 22. С. 259.

Тютчев — А. Ф. Аксаковой. Теплиц. 31 июля/12 августа <1870> // *Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 345.*

Из дневника А. А. Киреева. <Петербург. 4/16 октября 1870 г.> // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 410.

А. Ф. Аксакова — Е. Ф. Тютчевой. 30 июля/< 11 августа> 1870 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 409.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 225.

Тютчев — А. Ф. Аксаковой. Петербург. 17 июля < 1871 > // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 354.

Тютчев — А. Ф. Аксаковой. Петербург. 4 января 1872 г. // *Тютчев Ф. И. Сочинения*. Т. 2. М., 1984. С. 357.

Федор Иванович Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову. 1866-1871 / Предисл. и прим. Е. П. Казанович. Л.: Изд-во АН СССР, 1926. С. 6.

Е. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Москва> 3/<15> июня 1868 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 397.

Федор Иванович Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову. Л., 1926. С. 44.

Тютчевиана. М., 1999. С. 46-47.

Тютчев — Н. И. Тютчеву. Петербург. 13 апреля 1868 г. // *Тютчев Ф. И.* Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 324.

Е. Ф. Тютчева — Д. Ф. Тютчевой. <Москва> 25 мая/ <6 июля> 1868 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 396.

Б. М. Маркевич — М. Н. Каткову. Петербург. 23 декабря 1872 г./<4 января 1873 г.> //Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. С. 420.

Эрн. Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. <Петербург> 6/18 января 1873 г. // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. С. 422.

Тютчевиана. М., 1999. С. 53.

И. С. Аксаков — Ю. Ф. Самарину. Царское Село. 18 июля <18>73 // Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 257.